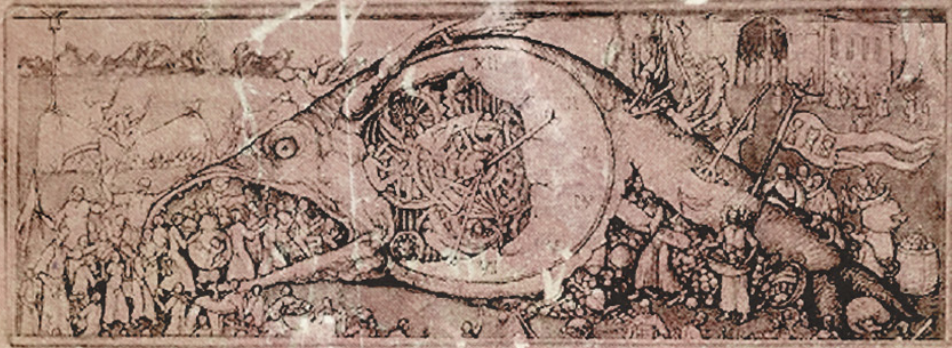


18+



Михаил Елизаров

ЗЕМЛЯ

Михаил Елизаров

Земля

«Издательство АСТ»

2014–2019

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Елизаров М. Ю.

Земля / М. Ю. Елизаров — «Издательство АСТ», 2014–2019

ISBN 978-5-17-118544-2

Михаил Елизаров – автор романов “Библиотекарь” (премия “Русский Букер”), “Pasternak” и “Мультики” (шорт-лист премии “Национальный бестселлер”), сборников рассказов “Ногти” (шорт-лист премии Андрея Белого), “Мы вышли покурить на 17 лет” (приз читательского голосования премии “НОС”). Новый роман Михаила Елизарова “Земля” – первое масштабное осмысление “русского танатоса”. “Как такового похоронного сленга нет. Есть вульгарный прозекторский жаргон. Там поступившего мотоциклиста глумливо величают «космонавтом», упавшего с высоты – «десантником», «акробатом» или «икаром», утопленника – «водолазом», «ихтиандром», «муму», погибшего в ДТП – «кеглей». Возможно, на каком-то кладбище табличку-временку на могилу обзовут «лопатой», венок – «кустом», а землекопа – «кротом». Этот роман – история Крота” (Михаил Елизаров). Содержит нецензурную брань В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-118544-2

© Елизаров М. Ю., 2014–2019
© Издательство АСТ, 2014–2019

Михаил Елизаров

Земля

© Елизаров М.Ю
© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Земля пахнет родителями.

А. Платонов

*Нет стариннее дворян, чем садовники, землекопы и могильщики;
они продолжают ремесло Адама.*

Ты славно роешь, старый крот!

У. Шекспир, «Гамлет»

Родился я в городе Сулов, ныне Алабьевск. Город был тогда полузакрытый, с каким-то военным производством. Отец работал в НИИ, а мать, бывшая отцовская лаборантка, находилась в декретном отпуске.

В памяти мало что сохранилось. Помню похожий на айсберг холодильник, по которому карабкается, скользит мой карликовый взгляд. Вот игрушечный совок, в его сияющей алюминиевой полусфере нежится желток пойманного солнечного луча. За окном на проволочной петле кормушка, фанерный парфенон: крыша конусом, днище да четыре рейки-колонны. Топчется голубь пепельного окраса – косится на меня. Стол и веточка смородины в блюде, каждая ягода точно вытарашенный голубиный глаз. Дворовые качели – пара растрескавшихся брёвен и железная труба-перекладина. Дальше изображение тускнеет, и качели уже не видятся, а слышатся: поскрипывают ржавыми петлями...

Собранные вместе, эти воспоминания составляют портрет того времени. Рамка у портрета овальная, ведь овал – фигура прошлого. Мать настолько повсюду, что её не увидеть. Отец вообще находится за границами «овала». Возможно, он гвоздь, стержень, на который прикреплен этот ранний суловский период.

* * *

После громкого служебного конфликта мы спешно покинули Сулов. Позже мне озвучили семейную версию былой драмы. Я узнал, как отец восстал против кумовства в науке, как в неравной борьбе был повержен и оклеветан. На беду приключилось возгорание, кто-то из сотрудников лаборатории серьёзно пострадал. Всплыли вдруг и хищения, к которым отец, разумеется, не имел ни малейшего отношения. Чтобы избежать уголовной ответственности, он уволился, потеряв при этом служебную квартиру.

Сначала наша семья перебралась в Ленинград. Полгода мы прожили в общежитии при каком-то ЦНИИ. Вскоре выяснилось, что на новом месте тоже не клеится. Ещё не остывшее правдоискательство отца раздраконило институтское начальство, и мы снова бежали.

Ленинград запомнился мне гулким сумеречным коридором, похожим на исполинский пушечный ствол. В застеклённом жерле ствола брезжит бледный северный свет, я с размаху шлёпаю о клетчатый кафельный пол резиновым мячом, и по стенам звонкой блохой скачет эхо...

Потом один за другим пошли новые города. Точно неведомый враг ополчился на нашу семью, и под его натиском мы отступали, как разбитая армия. Меня эти мытарства мало беспокоили, но мать, как я понимаю, ужасно переживала от бытовой неустроенности. В Новгороде, третьем по счёту городе, который нам выпало покинуть, она даже отважилась на разнос и прокричала отцу, что ей осточертела цыганская жизнь и нужен “собственный угол”. Я, воспринимая этот “угол” как наказание, взмолился:

– Мамочка, не надо нам в угол!

Отец, уже готовый вспылить, вдруг развеселился:

– Устами младенца глаголет истина. Обойдёмся без своего угла!..

Детская память – неумелый фотограф. В этой знаменательной сцене у отца, как на скверном любительском снимке, нет головы – просто не попала в кадр. А вот мать вышла хорошо: страдальческий поворот головы, разметавшиеся волосы, выразительно заломленные руки. И снова овальная рамка. Я просто не держу других рамок – одни овалы...

Вскоре отец посадил меня и мать на московский поезд. Сам он собирался путешествовать на грузовике вместе с пожитками.

Помню, как поразил моё камерное воображение детский сад, куда меня пристроили почти сразу после переезда в Москву. Просторное, даже не светлое, а пересвеченное помещение. На полу разбросаны книжки. На твёрдых, точно куски дерева, обложках изображения аляповатых животных: медвежата, зайчата. Разномастные кубики, грузовички. Кукольный лом, мамкающие калеки без рук-ног.

Меня обступили чужие дети. Воспитательница, точно наседка, откладывает вкочущие круглые слова: “Кто-о-о?.. Это-о-о?.. Тако-о-ой? Пришё-о-ол?..”

Я, заранее обученный собственному имени-фамилии, отвечаю: “Во-о-ова Кро-о-отышев”. Слышится ехидный шепоток: “У него тапочки, как у бабушки...” – я утыкаюсь взглядом в пол. Тело обдаёт жаром первого стыда. У меня именно такая – шаркающая, старушечья обувь.

Обед. Суп кишит разваренным луком и капустой. За едой надзирает толстая нянечка. У неё малиновые, как снегири, щёки. Когда она отворачивается, я вылавливаю тошную гущу, пальцами отжимаю и прячу в нагрудный кармашек. На вечерней прогулке я тайком выбрасываю слипшиеся варёные комья под куст. В какой-то из обедов меня предаёт малолетний сосед по имени Рома – мои афёры с суповой начинкой становятся всеобщим достоянием.

Поставленный нянечкой в угол, я плачу, горячее сердце бьётся прямо в подмокшем кармашке, а потом оно холодеет вместе с капустой и луком, стынет – моё сердце.

Тихий час длится целую вечность, заснеженно-белую, как потолок. Меня окружает усыпальница на четыре десятка кроватей – уложены младшая и средняя группы. Мне кажется, что все они спят мёртвым сном. Бодрствую только я. И моя бессонница больше и значительней их коллективного забытья.

Тогда же появляется первое в моей жизни кладбище. Пока ещё игрушечное, точно пособие для детей младшего дошкольного возраста, – макет грядущего взрослого кладбища.

Как её звали, ту девочку?.. Лида?.. Лиза?.. Худенькая, обстоятельная, с тощими русыми косицами. В свои пять лет эта Лида-Лиза уже была настоящим знатоком похоронного дела.

Под угрюмое развлечение она отвоевала удобную песочницу. И сама выбрала тех, с кем будет играть. Не знаю, чем я ей приглянулся. В четыре года таинство погребения для меня

ограничивалось считалкой про попа и собаку: “Вырыл ямку, закопал и на камне написал”. А Лида-Лиза просто подошла ко мне и сказала:

– Идём, ты будешь у нас копать.

И я пошёл. Даже не подозревая, во что ввязываюсь. А после сбежать не получалось. Лида-Лиза не отпускала. Она в совершенстве владела женским мастерством – не отпускать...

Мертвецкий контингент импровизированного кладбища был в основном народ военный – жуки-солдатики, которых исправно поставлял Лиде-Лизе её хмурый, деятельный помощник Максим. Попадались, конечно, мухи и пчёлы. Но главным покойником, украшением кладбища, был дохлый мышонок. Его погребла лично Лида-Лиза – похоронный долг и призвание оказались сильнее извечного женского страха перед грызуном, пусть даже и бездыханным.

Каждый из сотрудников кладбища был занят своим делом. Максим поставлял покойников, я копал могилы, а предатель Ромка – он тоже чем-то глянулся Лиде-Лизе – мастерил гробы из фантиков.

На памятники шли щепки, мелкие камни, стёклышки. Была приглашённая “родня” – три послушные плакальщицы из младшей группы. Они голосили заранее составленный Лидой-Лизой текст. Что-то вроде: “Ой, бедненький жучок! Почему ты не бежишь, лапками не шевелишь?!” Имелся прейскурант услуг: панихида, поминальный стол. А сама Лида-Лиза была директором игры: следила за регламентом похорон, управляла, наставляла.

На второй день после открытия кладбища она велела нам наломать веточек и обозначить границу зелёными насаждениями. Я под присмотром Лиды-Лизы прокопал водоотводы, чтобы дождь не размыл захоронения. У нас был хозяйственный блок – перевёрнутый кузов грузовичка, где хранились совок и материалы для постройки надгробий – камушки, щебёнка. За это отвечал Рома. Думаю, если бы нам позволили спички, Лида-Лиза организовала бы и постройку миниатюрного крематория.

Поначалу в нашу песочницу рвались малолетние вандалы, желавшие построить на месте мёртвого царства дороги и магистрали. Но Лида-Лиза умела так посмотреть на жизнерадостного автолюбителя, что тот с рёвом бежал жаловаться.

И вот однажды к нам пришла воспитательница – разобраться в слезах и прекратить мрачную игру. Сказала:

– Я вот сейчас ваше безобразие ногой подавлю! – занесла тяжёлую сокрушающую ступню, чтобы сравнять с песком наши могилы и склепы...

Сквозь годы я слышу крошечный Лиды-Лизин голосок. Маленький человек, пятилетняя девочка, требует уважения к смерти и праху. Говорит спокойно, с таким достоинством.

Я не помню конкретных слов, но общий смысл был именно такой – уважение к мёртвому миру! Смерть не прощает кощунства, даже если оно творится на территории игрушечного кладбища! Вот что говорила Лида-Лиза – только простыми детскими словами.

И воспитательница оторопела, отступилась. Я как сейчас вижу её багровое, точно остановленное на бегу лицо – стоп-кадр акрилового фотоовала...

Уверен, под руководством Лиды-Лизы насекомых некрополь продержался до холодов, а может, пережил и зиму. Но эти подробности мне неизвестны. В начале октября я подхватил двустороннюю свинку и до ноября пролежал в кровати. Потом в детском саду началась эпидемия краснухи. А когда зараза пошла на убыль, у отца не заладилось и с Москвой.

Я научился предугадывать сроки каждого нового переезда. Примерно за полторы-две недели родители приглушёнными голосами заводили однотипный разговор. Я слышал прерывающееся слезами материно:

– Серёжа, если тебе плевать на меня, то подумай о ребёнке!..

И негодующий змеиный шёпот отца:

– Маш-ша, неуш-ш-шели ты хочеш-ш-шь, чтобы они сделали из меня посмеш-ш-шищ-ще!..

Фантазия рисовала мне бесноватый цирк, взрывы издевательского хохота: на арене, усыпанной опилками, корчится от стыда мой бедный отец, он наряжен в дурацкие цветные одежды, на лице его кричащий клоунский макияж – из него опять сделали посмеш-ш-шищ-ще...

Из Москвы мы двинулись в Белгород, где отцу предложили учительскую должность в техникуме. И снова был поезд. Наше купе находилось в конце вагона. Отец давал какие-то наставления матери, а рядом, в тамбуре, пахнущем табачным перегаром, шумно харкало невидимое существо. Мне казалось, что это Москва так прощалась с нами, смачно плевала вслед...

В Белгороде мы пробыли около полугода. Вместо детского сада меня сдали под присмотр нашей квартирной хозяйке. Если быть точным, то была не квартира, а частный дом, его половина, где жила баба Тося, у которой мы сняли комнату.

Баба Тося была уже совсем ветхая, хотя я тогда не осмысливал глубины возраста. Голубоглазенькая, лёгкая старушка. На голове светлый платочек. В моих воспоминаниях она смотрит на меня из распахнутого майского окна. Солнечная прямоугольная рамка аккуратно вписана в надгробный овал...

С бабой Тосей мне жилось хорошо. Супы она готовила без склизкой луковой гадости и, кроме того, никогда не заставляла есть через силу. Чаще всего мы играли в молчанку. Тихая забава начиналась с присказки про цыган, потерявших кошку: “Кошка сдохла, хвост облез, кто промолвит слово, тот её и съест”. Мы по несколько часов кряду сидели и молчали, пока соседка не обращалась к бабе Тосе с какой-нибудь фразой и не “съедала” под наш дружный смех кошку.

Ещё баба Тося водила меня в церковь, что стояла неподалёку от её дома. Помню, мне эта церковь неизменно представлялась огромным каменным яйцом, внутри которого всегда царил сумрак, полный крошечных светляков.

Мне в церкви больше нравились изображения витязей, протыкающих чешуйчатых горынычей тонкими копьями. А баба Тося предпочитала бормотать возле скучных стариков и пригорюнившихся женщин. Время от времени я вежливо уточнял: “Поговорила?” – а баба Тося улыбалась.

Но самым главным в церкви был, конечно, Бог. Или “Боженька” – так его ласково называла баба Тося. Он мог быть голубем, младенцем, сердитым заоблачным стариком. Боженька в виде мужчины с девичьими волосами умирал в городе Киеве на кресте. Поэтому главная улица там называется Крещатик...

Я уточнял:

– Боженьку закопали? У него есть могилка?

А баба Тося отвечала:

– Нет, мой хороший. Боженька воскрес, поэтому у него нет могилки. Но однажды все, кто умерли, оживут, и боженька их будет судить...

Услышав от меня историю о боге с Крещатика, отец рассвирепел. Точно скрытый грозными тучами, откуда-то сверху он гневно восклицал:

– Отлично! Значит, бог есть! Да? На Крещатике? – Я, перепуганный, кивал, принимая мученический шлепок по заду. – Ну, а теперь, как ты считаешь, есть бог?!

Я слёзно выкрикивал:

– Да! Да!.. – и с рёвом бежал под мамину защиту.

Помню, отец перед сном ещё долго возмущался, собираясь устроить “старой дуре” грандиозный разнос, дескать, он не позволит развращать церковными бреднями ребёнка. Мать с трудом уговонила отца, пообещав ему поговорить с бабой Тосей.

Не знаю, проводились ли какие-то нравоучительные беседы. Уже через пару дней отец в ночных шёпотах снова помянул роковых хохмачей, желающих сделать из него “посмеш-шшиц-ще”. Это означало только одно – впереди маячили новые странствия.

Баба Тося умерла накануне нашего отъезда. Угасла за какую-то неделю. Глаза из ясных и небесно-тёплых сделались бесцветными, мутными. Каким-то утром от лица её отхлынула кровь, а бледная кожа налилась жёлтым воском.

Капризный, я обижался и удивлялся, почему баба Тося замирает – то посреди комнаты, то на середине строки:

– Тра-та-та, тра-та-та, мы везём с собой кота...

За день до смерти она снова оживилась, металась по дому и связывала в узлы свои вещи, точно собиралась в дорогу.

Утром мать разбудила меня, вывела во двор. Дверь в комнату бабы Тоси была открыта, я мельком увидел незнакомых старух. Двое рукастых мужчин – сосед и его сын – вносили в дом неуклюжий, стучающий о дверные косяки чёрный гроб.

Мать произнесла торжественным полушёпотом:

– Баба Тося умерла...

Может, она думала, что мне сделается страшно от этой новости. Спокойный, я обстоятельно доложил, что бабу Тосю нужно отвезти на кладбище, закопать и сделать памятник.

Сосед аж присвистнул от моих похоронных познаний. А отец, хмурясь, сказал:

– Видишь, как его покойница натаскала. Экспертом стал!.. – Хотя, если честно, мы с бабой Тосей не говорили о смерти. Это для отца религия и смерть были сторонами одной медали.

На следующее утро, перед тем как уложенную бабу Тосю навсегда вынесли из дома, сосед поймал меня за руку.

– Попрощаешься? – он указал подбородком на гроб.

Родителей поблизости не было. Я кивнул и через миг воспарил над столом и гробом.

Мне предстал чужой носатый старик, одетый в женское. Я послушно выговорил:

– До свидания... – и коснулся пальцем жёлтой щеки мёртвой бабы Тоси. Щека была твёрдой и шершавой, словно кожа бывалого футбольного мяча.

Слова “до свидания” подразумевают, что произносящий их рассчитывает когда-нибудь свидеться. Нет, я определённо не задумывался, окажусь ли однажды в загробном “там”, где среди прочих повстречаю бабу Тосю и кивну ей, как старой знакомой. На тот момент для меня не существовало категории “личной смерти”. Это уже много лет спустя мне разъяснили мои сумрачные учителя, что не энгельсовский обезьяний труд, а именно смерть сделала человека человеком, что осознание собственной смертности и является нашим настоящим рождением. Смерть принимает нас в люди.

Действительно, что не родилось, умереть не может. Ребёнок бессмертен в том смысле, что не может исчезнуть для себя, разве только для других. Я был пятилетним недочеловечком, яичным овалцем, в котором только вызревал будущий мыслящий труп. Вспоминаю наше детсадовское, песчаное кладбище. Мы обращались с мёртвыми насекомыми как с живыми предметами, которые сделались неподвижны исключительно ради нашей совместной игры – фигура на месте замри!..

Осознание личной смерти – зрелый плод. Поэтому и “умирала”, вкусив, охочая до наливной отравы пушкинская царевна. Баба Тося своей смертью не подбросила мне взрослого яда в яблоке. Я ещё долго оставался беспечным и бессмертным, то есть не верил, что однажды тоже умру.

За нашими пожитками приехал грузовик. Отец посадил нас с матерью в кабину, а сам пристроился в кузове. Города закончились. Мы “докатились”, как выразилась мать, до посёлка.

Точно не помню его названия – вроде Первомайское. Там мы продержались до осени. Отец мотался по делам на дребезжащем “уазике” куда-то в район. Кем он там работал, я не знаю – но вряд ли по специальности.

А в сентябре снова появился грузовик. Я спросил у взрослых, куда мы направляемся в этот раз. Отец ограничился скупой фразой: “В один населённый пункт”.

Через несколько часов мы приехали в довольно странное место, которое и населённым-то назвать можно было только из-за нашего присутствия. Вокруг на многие километры простиралась безлюдная неухоженная пастораль. По обе стороны от дороги чернели разродившиеся пашни. Вдалеке, за облезлыми, похожими на рыбы скелеты тополями виднелись низкие бараки – коровники или просто склады.

Дом, в котором нам предстояло жить, был одноэтажной развалюхой. Лично меня всё в нём устраивало: и низкие потолки, и скрипучий, щелястый пол, сколоченная из досок мебель: стол и лавки. Особенно впечатляла огромная, на полкомнаты, облупленная печь – прям как из сказки про Емелю. Увидев это закопчённое чудо, мать заплакала. Ведь даже у бабы Тоси было газовое отопление.

Именно тот день подарил мне первый устойчивый портрет отца. В болотного цвета ватнике он взволнованно прохаживался от дома к сараю, с трудом выкорчёвывая сапоги из топкой после ливня земли. Затем подошёл ко мне, присел на корточки. В первый раз мы рассмотрели друг друга хорошенько. У отца оказалось седое, заросшее недельной щетиной лицо. Серые глаза смотрели обречённо и устало, точно он этими самыми глазами много дней ворочал камни.

Отец с усилием подмигнул:

– Ну вот, сынок. Теперь у нас будет собственное хозяйство. Любишь курочек?..

Мне к тому времени было без малого семь лет, но как я ни старался потом воскресить более ранний облик отца, память упрямо отсылала меня к чернеющим полям, деревьям, коровникам и хате с обвалившейся дымовой трубой...

В первую же ночь мать без слёз сообщила, что уезжает вместе со мной, а отец пусть что хочет, то и делает. В ответ последовало неизменное:

– Неужели ты примкнула к тем, кто хочет сделать из меня посмеш-ш-шищ-ще?!

На этой фразе, предваряющей новые скитания, я заснул. Через утро под окном затарахтел мотором грузовик. Днём мы уже были на вокзале, а через два дня прибыли в Рыбнинск – на родину отца.

Вот есть понятие “малая родина”. Край, где родился, вырос. И небеса там особенные, и воздух не такой, как везде. Всё до мелочей знакомо, дорого: улочки в тёплой каштановой зелени, стены из бурого, в щербинах, кирпича. Даже вековая лужа возле автобусного круга – и она обязательна и любима. Во дворе тучный ствол раскидистой липы давно превратился в подобие коллективной метрики – весь изрезан именами: древними, зарубцевавшимися, и свежими. Фабричный стадион без активного спорта совсем одичал, зарос лопухами, репейником. Пустырь за универмагом по-прежнему в окурках, битых стёклах. Но как же вытянулись, как повзрослели берёзки, те, что сажали когда-то всем классом в городском парке...

Если я хочу вызвать из сердечных глубин что-то исконное и родное, память услужливо предлагает Рыбнинск – вместе с картинкой букваря и хорошими товарищами из соседнего двора.

Город Рыбнинск был очень живописным, словно декорация для фильма про девятнадцатый век. Отец как-то съязвил, что Рыбнинск – это архитектурный памятник на могиле русского купечества третьей гильдии.

Центр начинался помпезным зданием с колоннами и львами, перешедшим когда-то с поста городской управы на более скромную должность краеведческого музея. От него ветвились степенные малоэтажные улицы. Затем город стремительно мельчал до крылечек, ставенок, крашенных деревянных заборов. Казалось, за очередным поворотом вдруг откроется семиструнный простор в берёзах и травах, с убегающей несмазанной тележной дорогой, с колокольней и тихим озером, которое наплакали за долгие годы многострадальные ивы. Только вместо романса про ямщика начинались районы из панельных новостроек или бетонные ограды промзоны.

Мы поселились у родителей отца. Признаюсь, я совершенно не помнил бабушки и дедушки. Когда они навещали нас в Суслове, я был младенчески мал. А потом мы колесили по стране, нигде надолго не задерживаясь, и к нам и приехать-то было некуда.

Я, конечно, не стал расстраивать бабушку Веру и дедушку Лёню ненужной правдой. Наоборот, сказал, что прекрасно их помню – как они играли со мной, как гуляли, и старики были счастливы.

Мне они очень понравились. Уже за неделю я привык к ним и полюбил так, будто мы были рядом все эти годы. Бабушка Вера носила красивые платья: с кружевными воротниками, с пышными манжетами. По квартире ходила не в тапочках, а только в туфлях. Я не припомню такого случая, чтоб у неё хоть раз были растрёпаны волосы. Мать за глаза называла бабушку Веру дамочкой, но бабушка вполне заслуживала называться дамой.

Я смотрел на деда и недоумевал, как у этого радостного, энергичного человека вырос такой невесёлый сын – мой строгий и печальный отец. Они были будто два театральных слепка одного лица, изображающего то комедию, то драму. Дед любил пробежки по утрам, выписывал целый ворох прессы, пел, когда брился, и почти всегда знал ответы в передаче “Что? Где? Когда?”.

Дом наш был дореволюционным. Мы жили на втором этаже в большой трёхкомнатной квартире. После всех съёмных закутков она показалась мне настоящим дворцом. Потолки украшал витиеватый гипсовый узор лепнины. Сохранились старые двери – широкие, двустворчатые, с латунными, в пятнах окиси, ручками. Длинный коридор напоминал музейную залу – этому впечатлению способствовали пахнувший мастикой скрипучий паркет и полотна в массивных позолоченных рамах.

Картины были словно распахнутые настежь окна. Из них открывался вид на живописные просторы: тянулись в никуда просёлочные дороги, желтели скирды, мельница, как радостное пугало, размахивала дырявыми парусиновыми рукавами. Краски были тёплыми, лёгкими, так что даже кладбище выглядело совсем не страшным.

Я частенько останавливался возле этой картины. Саркофаг и пирамидальную тумбу с крестом на ней опоясывал плющ. У подножия, покрытого бирюзовыми наростами мха, качались бледные полевые цветики. В зелени раскидистого куста тлели кроваво-красные капли волчьей ягоды. На плите саркофага скорбел ангел или херувим, но из-за выбранного художником ракурса самой фигуры видно не было, только фрагмент каменного крыла, похожий на понурое собачье ухо. Кладбищенская тропка вела вдаль – в бесконечность крестов и надгробий. Ветер трепал прицепившийся к кованой оградке клочок седенькой паутины...

Когда я поинтересовался, чья это могила, отец ответил:

– В изобразительном искусстве нередко встречается название “Портрет неизвестного”. А это “Могила неизвестного”. Или “неизвестной”.

Картины рисовал мой прапрадед, средней успешности художник, один из тех, чья фамилия обычно занимает предпоследнее место в списке какого-нибудь позабытого творческого направления. Он жил на Украине и умер в начале тридцатых годов.

Отец рассчитывал, что картины с каждым годом будут представлять всё большую художественную ценность, и собирался частичной продажей коллекции обогатить нашу семью. Помню эти разговоры, когда он, подводя финансовые итоги, часто неутешительные, ронял:

– И однажды тысяч двадцать – тридцать за картины...

Дедушка и бабушка заявили родителям, что с радостью будут возиться со мной дни напролёт. Ужаснувшись моей детской дремучести, они принялись учить меня грамоте и счёту, читали вслух сказки, водили на прогулки в парк. Особенно мне нравились наши воскресные походы в видеосалоны – там в утренние часы крутили диснеевские мультфильмы.

Так прошли зима, весна и лето. Осенью я пошел в школу и даже не заметил, что теперь моя страна называется Российская Федерация, а не Советский Союз.

С первого класса у нас проводились так называемые уроки мужества, приглашались ветераны Великой Отечественной войны, чьи пиджаки были увешаны боевыми наградами. Они рассказывали героические фронтовые истории, мы спрашивали, за какие подвиги они получили свои ордена...

А мой дедушка оказался “стыдным”. У него была одна-единственная медаль, и та за многолетний труд, как у какой-нибудь старухи. Когда я спрашивал его, почему же он не попал на фронт, дедушка, кротно улыбаясь, отвечал, что не всё решалось стрельбой, кто-то должен был работать в тылу. И я понимал, что он прав, но всё равно переживал.

В классе я по мотивам военных фильмов сочинял про героизм деда, а если учительница интересовалась, сможет ли он прийти на очередной урок мужества, мучительно врал, что дед болеет, мол, старый осколок, и тому подобную чепуху, и меня оставляли в покое.

Особенно горько приходилось на Девятое мая. Дедушка считал, что это и его праздник, цеплял свой “Доблестный труд” и тоже выходил на парад, спрашивая меня, хочу ли я пойти с ним, а я отказывался – стыдился его пустых лацканов.

Мне вспоминалось, как жена какого-то ветерана сетовала подруге, что пиджак мужа весь в дырках от черенков орденов. Старик только посмеивался, а его жирный внук поедал мороженое, что-то канючил, не понимая, какое счастье ему привалило – дед, за которого не краснешь...

Так что я отсиживался дома, выбираясь только к торжественному салюту на Могиле Неизвестного Солдата, чтобы вместе с приятелями, как только отгремят автоматные очереди, подобрать ещё тёплые гильзы “калашниковых”.

К вечеру улицы пустели и под ногами лежали растоптанные, тронутые фиолетовой гнильцой бутоны тюльпанов и гвоздик, будто следы огромной похоронной процессии, только для вида назвавшейся парадом...

Втянувшийся в кочевую жизнь отец отчаянно скучал в тихом Рыбнинске. Врагов здесь вроде бы не было, лишь постаревшие приятели детства. Самый благополучный, дядя Гриша, работал физруком. Он-то и предложил отцу устроиться к ним в школу учителем алгебры и геометрии.

Отец после Бауманки двадцать пять лет жизни посвятил газодинамике двигателей и твёрдым видам топлива, но в рамках школьной программы преподавать мог бы, пожалуй, что угодно: математику, физику, химию, географию, английский и даже астрономию. Он разбирался во всём и недаром закончил школу с серебряной медалью. (Золотую не получил только из-за козней классной руководительницы, интриганки и махровой сталинистки, заранее распознавшей в юном отце свободный дух и независимый ум.)

Поначалу перед опальным кандидатом наук, бывшим завлабом склонялись и робели директриса и завуч. Так что отец на какое-то время ощутил себя цезарем в галльской деревеньке.

Трудно поверить, но первый месяц он улыбался! С восторгом рассказывал, как славно его приняли ребята, как изумило их уважительное обращение на “вы”, взрослая институтская подача материала.

Он обманулся, принял обычное любопытство за доброе отношение. Вскоре отцу уже казалось, что ученики к нему охладели. Он искренне переживал, видя в этом происки “завистников” и “недругов”. Улыбка сошла с его лица.

Отец не учёл, что перед ним не студенты, а обычные подростки. С первого урока он пустил дисциплину на самотёк, а когда спохватился, было слишком поздно. Нового математика не воспринимали всерьёз.

Тогда отец совершил вторую ошибку – прибавил в строгости. Ученической любви это не принесло. Отец несколько раз попытался исправить ситуацию, но дружбы с классом не получалось – когда он изображал добряка, ему садились на голову. Он в отместку пуще прежнего закручивал гайки и пожинал бешеную ненависть.

Через год отец уже открыто свирепствовал. Высшим баллом у него была тройка. Однажды он пришёл домой бледный от ярости – директриса сделала ему замечание: мол, он хоть и “доцент”, а учит плохо, и все на него жалуются.

Отец взволнованно прохаживался по комнате, говорил, что уволится из школы, поминутно чиркая “посмеш-ш-шищ-щем”, как отсыревшими спичками. Мать сидела перед ним на стуле, механически кивала:

– Ага... да... да... м-м-м... да... – и лицо у неё было каким-то скучающим, ленивым.

А когда отец исчиркал весь коробок своих “посмешищ”, мать сказала... Не помню, что именно. В принципе, ничего грубого. Произнесла что-то вроде:

– Сергей, ради бога, не тошни. Иди лучше телевизор посмотри... – а потом встала и ушла на кухню. И даже не оглянулась посмотреть, что сотворили с отцом её убийственные слова.

А они сбили его с ног. Отец в этот миг напоминал нокаутированного боксёра в замедленной съёмке – когда тот, в веере кровавых брызг, раскинув руки, ещё парит между небом и рингом.

Сердцем я чувствовал, что мать поступила дурно. Раньше она не позволяла себе говорить с ним в таком тоне. Она могла кричать, шумно обижаться, плакать – но не была такой жестокой и равнодушной.

Это произошло сразу же после того, как мы разменяли наши три музейных комнаты на два скромных малолитражных жилища. Дедушка с бабушкой переехали в однушку, а нам досталась двухкомнатная квартира. Мать тогда впервые ощутила себя хозяйкой, перекрасилась из брюнетки в рыжую и показала характер.

Несколько дней отец ходил оглушённый, бормотал, что у него нет больше жены, паковал чемодан – готовился бежать в одиночку. Мать с презрительной улыбкой наблюдала за ним. Не останавливала, но и не подгоняла.

Мне было очень жаль отца. Годы спустя я понимаю, что в глубине своей неуживчивой природы он не был ни гордецом, ни занудой, всю жизнь искал человеческого тепла и понимания,

а больше всего на свете боялся оказаться в глупом или смешном положении. Этот страх, вкупе с поисками “правды”, сгубил его карьеру и поломал жизнь.

Поразительно – ведь отец был высоким и статным, без единой комичной черты. О таких в народе говорят: “представительный мужчина”. Когда-то он был другим. Бабушка Вера показывала его школьные, с обломанными уголками, снимки, гранённые временем, усечённые овалы. Вот юный отец стоит в обнимку с приятелями, на голове лихо заломленная кепка – хохочет. Вот перебирает гитарные струны, рот полуоткрыт – поёт...

На поздних фотографиях, и семейных, и для документов, отец позировал всегда с одинаковым выражением лица. Такое бывает у человека, который долгие годы несёт в себе высокую гордую беду.

Помню, как напрягалось всё его естество, если за спиной слышался чей-то смех: над кем потешаются? Во время нечастых застолий отец редко рассказывал анекдоты, никогда не танцевал. А стоило мне, малолетнему, пуститься в детский пляс или запеть, спрашивал с хмурым презрением:

– В клоуны готовишься?

Нужно ли сообщать, что отец никуда не уехал? Формальным поводом послужил сломавшийся замок на чемодане. Отец негодовал, чертыхался, что такая мелочь останавливает его, но мне и тогда было ясно, что сломалась не защёлка, а человек.

Моральная победа матери пришибла отца. Он начал стариться. Когда родители только расписались, отец не считался молодым мужчиной – ему перевалило за сорок. В моменты семейных ссор мать с горечью восклицала, как обманулась она, юная и неопытная, клюнув на представительный возраст будущего мужа.

Родители тогда частенько ругались, и во время одной из таких перебранок я узнал, что у отца давно, за много лет до нас, была другая семья, в которой имелся ребёнок – сын по имени Никита. Получалось, что где-то в другом городе проживает мой сводный брат, уже совсем взрослый.

Нерастраченный педагогический задор трансформировался у отца в писательский зуд. Без малого год он истязал меня сказкой домашнего разлива: “Удивительные приключения числа 48 и его друзей”.

Почему в герои попало именно 48, а не 92 или, допустим, 31, не знал даже отец. У меня есть версия, что в момент создания сказки отцу было ровно сорок восемь. Сам отец считал, что перенёс повествование в область предельной абстракции, но в сути отцовское литературное детище по замыслу не особо отличалось от бесчисленных историй с очеловеченными карандашами или молотками. В волшебной стране Цифирии жили главный герой – доброе число 48 и его друзья. Сюжеты были однотипны – арифметические перипетии с моралью. Какое-нибудь злое число нападало на страну добрых чисел, но 48 и со товарищи, собравшись вместе, всегда побеждали. Интрига строилась на неизвестной величине отрицательной армады и обязательном предательстве какого-нибудь числа из страны Цифирии.

Вначале в батальных сценах персонажи орудовали знаками минус. Потом появился знак деления – что-то вроде оружия массового уничтожения, при помощи которого предатель уменьшал армию Цифирии. Когда отцу стало не хватать выразительных средств, он наскоро объяснил мне, что такое математический корень. После чего в одном из сюжетов уже фигурировал некий “ядовитый корешок”, который вражеский шпион подсыпал в пищу главным героям – то есть извлекал из них корень. В одной из глав доброе число 48 переживало грехопа-

дение, становилось отрицательным, но друзья общими усилиями его духовно реанимировали, умножив на –1.

Вообще, у отца были далеко идущие планы. Историю планировалось по мере моего взросления усложнять. Возможно, к концу школы её населяли бы интегралы и дифференциалы.

По семейной легенде сказка была результатом беззаботного досуга. Первыми, кого отец приобщил к этой лжи, были наши немногочисленные гости – физрук дядя Гриша с супругой, ещё коллеги-учителя, которых отец до времени не занёс в “недруги”.

Чтобы обставить это непринуждённостью, отец приглашал и меня за стол, затем с неуклюжим “невзначай” приносил общую тетрадь. Конечно, он хотел, чтобы я сам заводил разговоры про его сказку, но я всегда был нем как могила.

В тексте присутствовали и какие-то политические аллюзии, потому что отец время от времени перемежал чтение хитрыми прищурками. Вежливые гости, все, кроме честного дяди Гриши, которому всякое сочинительство было до лампочки, понимающе улыбались, как бы отдавая должное мастерству автора, сумевшего запаковать в детский жанр дерзкую и взрослую мысль.

Потом учительница русского языка и литературы, а иногда историк, произносили ключевую фразу вечера: “Ой, это всё надо бы опубликовать”. Отец шутливо отмахивался, мол, что за глупости, пишу только для Володьки – и кивал в мою сторону.

У меня на доброе число 48 имелся даже не зуб, а клыкастая челюсть. Как часто случалось, я смотрел какой-нибудь мультфильм, а в комнату входил отец и со словами: “Нечего глаза портить!” – выключал телевизор, волок меня в другую комнату, чтобы зачитать очередную главу. Как после этого я мог относиться к отцовскому творчеству?

Несмотря на лукавые заверения, что публикации его не интересуют, отец однажды повёз-таки “Число 48 ” в Москву. Помню, как мать укладывала в чемодан бутылки с коньяком – на подарки. Из столицы отец вернулся ни с чем. За вечерним столом он талантливо передразнивал речи тупоголовых редакторш – пищал, картавил и шепелявил...

От собственной внутренней драмы отец решил драматизировать и сюжет. В очередном сражении, в результате предательства число 48 погибло, спасая родную Цифирию. Отец расстроганно читал свои абзацы, ожидая, вероятно, моих криков: “О, папа, зачем?!”

Я же чёрство воскликнул:

– Наконец-то оно подошло!

Отец захлопнул тетрадь и, швырнув её на стол, вышел из комнаты. На последнем листе, под размашистым словом “КОНЕЦ” я, как умел, нарисовал могильную плиту с цифрой 48 в овале. После этой выходки отец больше недели не разговаривал со мной.

Горечь ещё долго жила в нём. Он ополчился на всю детскую литературу сразу. Однажды, застав меня за чтением волковского “Изумрудного города”, уязвлённо произнёс:

– Надо понимать, тебе по душе этот совковый плагиат “Страны Оз”.

– Пап, а что такое плагиат?

– Словарь открой и посмотри! А заодно понятия “эпигон” и “пастиш”.

Нужно заметить, это был чуть ли не единичный случай, когда отец пренебрежительно обозвал нечто советское “совковым”. К примеру, когда мать двумя годами раньше читала мне “Приключения Пинокио”, отец с неудовольствием сказал ей:

– Маш, а чего не наш отечественный “Золотой ключик”? Зачем Володьке католическое морализаторство вековой свежести? У Толстого хотя бы просто сказка без лукавых мудрствований!

– Пап, – вступился я за обруганного писателя Волкова, – мне правда нравится.

– Ну, тогда совсем другое дело, – съязвил отец. – Я, как обычно, переоцениваю твои интеллектуальные возможности...

А учился я средне. Где-то в третьем классе забрезжила надежда, что моя вялая успеваемость как-то связана с близорукостью – это предположила наша классная руководительница, когда обратила внимание, что я шурюсь. У отца зрение было нормальное, а немощными глазами я пошёл в мать – она с юности носила очки и была похожа в них на мультяшную маму Дяди Фёдора из простоквашинской саги.

Окулист выписал мне очки, меня пересадили за первую парту, максимально приблизив к источнику материала. Отец очень уповал, что диоптрии каким-то непостижимым оптическим способом увеличат и мои скромные дарования. Но тщетно: успевал я по-прежнему плохо, особенно по точным предметам. Для отца это было дополнительным источником страданий, ведь он действительно был силён в математике, как Васин папа из шуточной детской песенки.

Пока я был маленьким, отец мне ничего не дарил. Игрушки он считал глупостью, а до полезных предметов я в его понимании не дорос. Я хорошо запомнил мой девятый день рождения, на который впервые получил в подарок от отца наручные часы “Ракета”.

Наверное, мне бы больше пришёлся по душе современный кварцевый хронограф, но я всё равно обрадовался. Часы были необычные. Циферблат имел не двенадцать делений, а двадцать четыре. То есть там, где на обычных часах в зените стояла цифра 12, на моих красовалась 24 – в таком замысловатом механизме часовая стрелка совершала полный оборот за сутки.

Я проделал гвоздиком дырку в кожаном браслете, чтоб затянуть его по руке, приложил часы к уху и сполна наслаждался тикающим ходом, а потом взялся за заводную коронку – выставить точное время. И замер, остановленный истошным воплем отца. Он подскочил ко мне и шлёпнул по щеке. После резко спросил: успел ли я перевести стрелки? Я ответил, что нет, а уже потом заревел – скорее от незаслуженной обиды, чем от боли. Отец с облегчением вздохнул, извинился за пощёчину и всё объяснил. Он сказал, что купил эти часы ещё до моего рождения и завёл их ровно в ту минуту, когда я появился на свет. Если быть точным, то моя “Ракета” стартовала с погрешностью где-то в пятнадцать минут. Поскольку жизнь начиналась для меня с нуля, часы тоже начали свой ход с условного начала суток в 24:00, хоть я и родился утром – по словам матери, где-то в половине девятого.

И вот с того самого момента время в этих часах шло своим, точнее, моим чередом, не стремясь совпасть с наружным, земным. Они отмеривали только моё персональное время, и вмешиваться в него категорически запрещалось. Так объяснил отец. И строго добавил, что раньше он заводил часы, а теперь это буду делать я.

Отцу показалось, что я не воспринял его слова серьёзно, и он, досадую, второй раз треснул меня – теперь по затылку. Я снова заплакал, и отец повторил, что отныне каждое утро я должен сам заводить часы, а если вдруг позабуду это сделать, то случится нечто более неприятное, чем пощёчина или подзатыльник.

Кстати, носить часы на руке тоже запрещалось, чтоб случайно не разбить и не потерять. Им полагалось лежать в серванте за стеклом.

В этом подарке отразилась вся отцовская натура. Только он умел преподнести вроде бы нужную вещь, от которой не было никакой радости и пользы, лишь одни неприятные обязательства – словно вместо желанного щенка овчарки мне поручили досматривать старую больную диабетом пуделиху.

Я из принципа пытался приспособить часы к эксплуатации. Допустим, они показывали ровно полдень, а московское время было пятнадцать тридцать, то есть следовало прибавлять к моему биологическому ещё три с половиной часа. И при этом учитывать погрешность меха-

низма – мои часы спешили где-то на минуту в сутки. Уже через две недели я сбивался и, чертыхаясь, отступался.

Но, очевидно, благодаря отцовскому подзатыльнику ритуал ежеутренней подзаводки часов стал для меня такой же нормой, как умывание или чистка зубов. Проснувшись, первым делом я ковылял к серванту. Отец говорил, что пружины в часах хватает на двое суток, но просил, чтобы я заводил их каждый день, в одно и то же время, потому что это “залог здоровья часового механизма”.

Отец без всяких шуток называл часы “биологическими”. Говорил, что однажды я пойму, как ими надо пользоваться, и ещё скажу ему спасибо.

Так или иначе, именно часы впервые привели меня на кладбище – спустя два года.

Отец и мать старались не вздорить открыто и, наверное, поэтому решили спровадить меня куда-нибудь на всё лето, чтобы без помех выяснять отношения.

Родительский выбор пришёлся на самый обычный лагерь, бывший пионерский, путёвки в который распространяли прямо в нашей школе. Лагерь находился за городом возле водохранилища и назывался как отечественный шампунь – “Ромашка”. Первую смену забирали в начале июня – увозили на автобусах со школьного двора.

По идее, путёвки были бесплатными, но в школьной канцелярии, куда мы пришли с отцом, пояснили, что бесплатно только детям из многодетных семей. Отец из принципа устроил скандал. Грозился написать жалобу в министерство и в газету. Дошло до того, что вызвали завуча, которая продемонстрировала отцу бумагу, где действительно было написано, что путёвки “по возможности” должны быть дармовыми. А такой возможности, как добавила завуч, нет.

Мне было ужасно неловко. Я буквально шкурой чувствовал полный ядовитой неприязни взгляд нашей завучихи, похожей в своих громоздких очках одновременно на паука и на пойманную им гластастую стрекозу.

А отец словно не понимал, что мне потом учиться в этой школе. Позже я не раз слышал неодобрительные учительские шепотки: мол, это сын того самого, который скандалил.

В итоге отцу всё равно пришлось заплатить. Ему с нескрываемым злорадством отказали в трёх сменах. Уступили одну – самую первую, июньскую.

На улице отец до боли стиснул мне руку и прошипел, как упавший в воду уголёк, что я сделал из него “посмеш-ш-шищ-ще”. Ведь именно я сказал ему, что лагерь бесплатный. Мне о лагере сообщил мой одноклассник Толик Якушев. Толик как раз был из многодетной семьи.

Отдельно я получил за то, что отец не захватил из дома деньги и едва наскрёб по карманам нужную сумму. А это, по его мнению, выглядело “смешно”.

* * *

Через неделю учебный год подошёл к концу. После образовательной реформы, отменившей десятилетку, мы из третьего класса перескочили сразу в пятый.

Свежим июньским утром родители проводили меня к школе – там стоял наш автобус. Я пристроил рюкзак на задних сиденьях, заменявших нам багажное отделение, и уселся в кресло у окна рядом с Толиком Якушевым. Он-то катил в “Ромашку” на всё лето – вместе с двумя старшими братьями и младшей сестрой.

Уже в дороге я вспомнил о часах и похолодел. Верный отцовскому наказу, я благополучно оставил их на полке в серванте!

Я как ужаленный сорвался с кресла и побежал в начало салона, где сидели наши вожа-тые – три девушки и два парня, студенты педагогического института. Я запомнил, как звали парней – Сергей и Эдик. Они знакомились с нами в школьном дворе перед посадкой. Отец, похмыкав, назвал их “толстый и тонкий”.

Я принялся сбивчиво объяснять, что оставил дома важные вещи и мне нужно срочно вернуться в город. Толстый Сергей даже не стал меня слушать, отмахнулся, сказав, что из-за одного человека никто не поедет обратно, а тонкий Эдик иронично прибавил, что “глобус и учебник математики” мне на выходные привезут родители. И ещё шутливо добавил:

– Давай, профессор, топай на место! – и все, кто это услышал, засмеялись. Профессором он назвал меня из-за очков, благодаря которым я производил впечатление учёного мальчика, а не троечника. Я поплёлся обратно.

Что и говорить, положение было ужасное. Объяснить водителям истинную причину своей паники я не мог – меня бы подняли на смех. По большому счёту, мне самому было странно, отчего я так перепугался. Ну подумаешь, часы! Не верил же я всерьёз, что моё благополучие напрямую зависит от их бесперебойного хода...

Остаток пути я убеждал себя, что отец, конечно же, заметит часы на полке и заведёт их сам, но отвлечься от тяжёлых дум никак не удавалось. И так обидно было наблюдать за чужой беспечностью. Все радовались дороге: весело вскрикивали, когда автобус подбрасывало на ухабах, и вместе с Эдиком, несмотря на жаркий июнь, пели “Что такое осень – это небо”. В общем, всем, кроме меня, было хорошо.

На свежескрашеных воротах красовалась огромная, похожая на пропеллер ромашка. Белые лопасти обсыпала черёмуха, а солнечного цвета сердцевина стала липким кладбищем для стайки обманувшихся мошек.

Сам лагерь был неплох. Одноэтажные постройки с просторными верандами выглядели так приветливо, что язык не поворачивался назвать их бараками. Под длинным навесом располагались летние умывальники, округлые вымечки из алюминия – штук по двадцать с каждой стороны.

Мальчиковый туалет – сдвоенный деревянный сарайчик – украшала роспись из условных ромашек, очевидно, в честь названия лагеря. Возможно, цветы работали оптическим ароматизатором, потому что пахло у нас лучше, чем в соседнем девчачьем нужнике, где на стенах были только божьи коровки.

Имелся летний кинотеатр с небольшой сценой – для самодеятельности. Были павильоны: ручного творчества, шахматный, музыкальный, и возле каждого торчал стенд с нарисованным пионером; судя по тому, что пионер держал – лобзик, гигантского фёрзя размером с младенца или же гитару, – можно было догадаться, чего ожидать внутри павильона.

Стенды были старые, из прошлой советской жизни, как и гипсовые болваны – салютующие или со вскинутыми горнами. Да и самой пионерской организации уже лет пять как не существовало.

В лагере вовсю кипела жизнь – автобусы из других школ приехали раньше на несколько часов. Возле теннисных столиков уже собралась очередь. На асфальтированной площадке стучал баскетбольный мяч, где-то в тополиной листве то откашливался, то репетировал мелодии осипший репродуктор.

Наши автобусы рассортировали по возрастам и разделили на отряды. Меня, Толика Якушева и ещё пятерых записали в отряд, где вожатой была стеснительная, мышинной комплекции педагогическая девица по имени Света. Эдик, видимо, хорошо знал её, потому что сказал нам с улыбкой:

– Светлану Николаевну не обижать! Ясно, разбойники?..

Вместо тихого часа мы обживали нашу палату, собирали панцирные кровати, таскали со склада одеяла и подушки, постельное бельё из прачечной. После полдника пришёл мужик в белых шортах и с аккордеоном, лагерный массовик, чтобы выяснить, есть ли в нашем отряде певчие таланты. Мы тянули хором “Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь”, а массовик говорил, кому помолчать, а кому петь дальше. При этом массовик тоже пел – ему самому очень нравилась песня. На вечерней линейке начальник лагеря поздравил нас с началом смены и пожелал хорошего отдыха.

Всё это время я умудрялся не думать о часах. Просто душу давила какая-то сырая холодная тяжесть, точно на меня надели промокший свитер. После отбоя, когда были рассказаны страшилки про чёрные руки и красные пятна и палата угомонилась, я остался наедине со зловещей тик-такающей тишиной. Я пытался успокоить себя, что отец помнит о моих часах. И тут словно воочию увидел жуткую картину: мать кладёт за стекло какие-то квитанции – прям на часы, только ремешок наружу выглядывает. Отец их просто не увидит!

Я вскочил с кровати, принялся лихорадочно одеваться. Через полминуты одумался, разделся и снова лёг. Следовало терпеливо дожидаться утра, поговорить с начальником лагеря, объяснить, что мне срочно нужно в город. Ах, как всё было бы просто, если бы у нас дома имелся телефон, но его, увы, не было.

Ночью я почти не сомкнул глаз – еле дождался подъёма. Вожатой Свете я выпалил, что родители уехали в отпуск, а я оставил дома невыключенный утюг – первое, что пришло в голову. Вожатая всполошилась и повела меня к начальству. По пути я сообразил, что идея с утюгом довольно бредовая. Да и по факту переживать-то уже было поздно – или утюг, или квартира.

Тем не менее я назойливо ныл про утюг. Неожиданно появился Эдик, который точно знал, что меня провожали родители – отец перед отправкой лично побеседовал с ним в своей поучительно-ворчливой манере. Эдик разом всех успокоил, сказав, что с утюгом определённо проблем не будет: найдётся, кому выключить. На этом разговор закончился.

Я чувствовал себя живодёром. Часы представлялись мне существом, которое я бессовестно обрёл на медленное умирание. Буквально шкурой ощущал, как слабеет часовая пружина, как выдыхается их заводная жизнь...

Вечером в голову пришла запоздалая идея, что можно отправить отцу телеграмму. Но почтовое отделение, если таковое вообще имелось в посёлке, наверняка уже было закрыто.

Странно, но я до последнего откладывал мысль о побеге. Я осознавал, что часы – обычный неодушевлённый предмет. Они никак и ничем не были связаны со мной, кроме пресловутой “биологичности”. Кроме того, я отдавал себе отчёт, что бегство – это серьёзнейшее нарушение дисциплины и меня наверняка отчислят из лагеря. Никто не поймёт моего поступка: “Он сбежал, чтобы спасти часы”. Но какая-то иррациональная область ума вопила от ужаса и требовала немедленных действий.

Перед сном мои беспечные соседи устраивали друг друга историями про Крюгеров и Джексонсов, а вот мне было страшно по-настоящему. Я понял, что вовсе не убийца часов, а самоубийца.

На рассвете я бежал из лагеря. До того положил на тумбочку записку для вожатых: мол, не беспокойтесь, я не пропал, а просто уехал домой.

Центральный вход не охранялся, так что я вполне мог бы выйти через ворота. Но, придерживаясь канонов побега, я чуть ли не ползком прокрался к летнему кинотеатру и под прикрытием его стены перелез через забор. Он был невысокий, из крупноячеистой сетки-рабицы.

Я бежал по утоптанной земляной дороге к ближнему посёлку, справедливо полагая, что где-то рядом должна находиться и железнодорожная станция с пригородной электричкой.

Посёлок просыпáлся – поскрипывал, хлопал дверьми и ставнями. За невысокими заборами горланили сильные петухи. В отцветающих кустах сирени свистели утренние птицы. Воздух был дымчатым и полусонным.

Я ужасался моему ослушанию. Однако нутро подсказывало – всё делается правильно: “Если повезёт, я успею добраться до города раньше, чем вожатые поднимут нашу палату. Отец простит мне моё бегство, сообщит дирекции лагеря, что я дома, и всё закончится если не хорошо, то по крайней мере без громкого скандала...”

Я промчался по окраине посёлка и выбежал на широкое грунтовое шоссе. Сразу за ним в негустом перелеске посвёркивало серебрянкой местное кладбище. Я выдохся и минут десять шёл заплетающимся шагом, пока не успокоилось надорванное дыхание.

Вскоре послышался далёкий железный перестук товарного состава. Ветер принёс запахи шпала, угля и смолы. Показался мост через глубокий овраг и высокая, обросшая редкой травой железнодорожная насыпь. Я вскарабкался наверх. По другую сторону насыпи простирались поля и дачные участки. Виднелось большое извилистое озеро с одинокой резиновой лодкой и сутулым, как окурок, рыбаком в ней.

Станции я не увидел. С одной стороны обзор заканчивался дальним поворотом, и буйная зелень вдоль полотна не давала ничего рассмотреть. Я повернул в зрячую сторону.

Примерно четверть часа я добирался до облупленного бетонного перрона. Последние сотни метров опять летел во весь дух, потому что вдалеке змеилась юркая электричка.

Я вбежал в тамбур вагона. Электричка тронулась. Задыхаясь, я смотрел на красный рычаг стоп-крана, похожий на кровавый кабаньё бивень. Потом зашёл в вагон и без сил рухнул на деревянную лавку. Субботний вагон был пуст и билеты, разумеется, в такую рань никто не проверял.

В город я приехал к семи утра, как показывали вокзальные куранты. Через десять минут я уже бежал по ступеням нашего дома на четвёртый этаж. Чуть постоял у двери, слушая невнятные голоса родителей на кухне. Судя по повышенным тонам, они вздорили. Потом позвонил, заранее готовя оправдательные слова.

Дверь открыл отец. Первые секунды он смотрел на меня непонимающим взглядом. Из кухни выбежала мать.

– Вовка, что ты здесь делаешь? – с каждым словом голос её поднимался от удивления к гневу.

Я распахнутым ртом прокричал отцу:

– Пап, я забыл часы завести, – и кинулся в комнату к серванту.

Часы лежали на полке, там, где я их оставил. Я схватил их и первым делом глянул на циферблат. О, счастье! Секундная стрелка была жива, она двигалась, но, как мне казалось, из последних сил.

Резко повернул заводную коронку. Она совершила оборот и застопорилась.

– Я сам завёл их вчера, – произнёс за моей спиной отец. – Не крути, сломаешь!

Я повернулся. И поразительно – мой хмурый отец широко улыбался.

– Плохо, что ты не подумал заранее о проблеме, – сказал он. – Но хорошо, что изыскал возможность её решить. Я... – отец чуть задумался и выдал совсем неожиданное. – Горжусь твоим поступком, сын.

Мать металась по квартире, негодовала:

– Куда звонить и кому!? Вот сам, – заявляла отцу, – и вези его обратно!

Но мне уже было не страшно, а, наоборот, радостно – отец впервые гордился мной.

Подъём в лагере был в восемь, а мы опоздали всего на десять минут, так что переполох ещё не вышел за пределы нашего корпуса. Я увидел на веранде вожатых: зарёванную Свету (она держала в руках моё прощальное письмецо) и пунцового от злости Эдика.

К крыльцу мчался кто-то из моих сопалатников:

– Нет его в туалете! Я в девчачьем тоже смотрел!

Первым меня увидел Толик Якушев, завопил:

– Вот он! – тыча пальцем. – Они... – досчитал отца.

Вожатые развернулись на палец и замерли. Отец мирно, даже смиренно произнёс:

– Молодые люди, можно вас на минуточку?

Света растирала слёзы по розовым, будто нахлёстанным щекам, Эдик гневался и робел одновременно. Взгляд его стремительно перескакивал с меня на отца, потом снова на меня, словно Эдик следил за стремительной теннисной партией.

– Молодые люди... – повторил отец. Перешёл на деловой шёпот: – Я всё объясню, это полностью моя вина...

Пока он говорил, настойчиво и очень тихо, я ловил на себе восхищённые взгляды сопалатников. Никто не решался ко мне подойти – я был ещё вне закона. Лишь Якушев отчаянно жестикулировал, изображая какой-то конец света.

Я услышал стесняющийся голос отца:

– И в качестве небольшой компенсации за ваши нервы... – он вытащил из кошелька несколько купюр и вложил в отнекивающуюся руку Эдика. – Я прошу, – сказал отец. – Вас, девушка, простите, как зовут? Светлана Николаевна? Тоже очень прошу. Возьмите, конфет себе купите...

Рука Эдика сдалась, он спрятал деньги, затем повернулся ко мне:

– Кротышев, марш в палату, с тобой будет отдельный разговор!

Отец крикнул вслед:

– Не беспокойся, сынок, пока ты в лагере, я присмотрю за ними...

– За чем?.. – спросила гундосая от слёз Света. Она ещё не решила, куда пристроить свою взымку, комкала её. – За чем присмотрите?

Голос отца улыбнулся:

– За утюгами...

* * *

Конечно, эпизод с побегом сам по себе был ярчайшим в моей невыдающейся жизни, но в ту лагерную смену я впервые оказался на кладбище, и оно, как сказали бы мои будущие наставники, “поздоровалось со мной”. И встречу, как ни крути, подстроили “биологические” часы.

Заканчивалась первая неделя смены. Обещанный Эдиком разнос так и не состоялся. Вожатые предпочли сделать вид, что ничего не произошло. Несмотря на все липучие распросы, я никому не признался о часах – даже лучшему другу Толику.

Слухи о моём геройстве, конечно же, расплозились по лагерю. После завтрака меня подзвали старшие Якушевы – Семён и Вадим. Им уже было по четырнадцать, и они перешли в девятый класс.

Семён, дружески подмигнув, спросил: видел ли я поселковое озеро?

Я сказал:

– Видел, – и как умел нацарапал палочкой на земле план местности: вот дорога через посёлок, трасса, тут кладбище, там железная дорога, а за ним уже озеро.

– О, – ухмыльнулся Семён, – и кладбище есть! Интересно...

– А засышь, – спросил кто-то, – на кладбище ночью?

– На что спорим? – Семён даже не обернулся. – На ракетку твою спорим?

– А как докажешь, что там был? – спросили насмешливо за его спиной.

Семён чуть подумал:

– Ну, ленточку с венка срежу... Спорим?

Тогда Семён и предложил пойти вместе с ними ночью. Сперва на кладбище, а потом уже к озеру. Польщённый таким неслыханным доверием, отказаться я не мог, хотя Толик завистливо отговаривал:

– Ну и дурак! Поймают и точно выгонят!..

Я соорудил из одеяла и полотенца спящую куклу, чтобы моя койка не выглядела пустой. В полночь, сверившись с часами соседа, я покинул палату. Почему-то через окно, хотя, уже спрыгивая с подоконника, сообразил, что мог бы выйти через дверь, как нормальный человек. Никто же не запрещал нам ночные посещения туалета.

Прислушиваясь к шумам и шорохам, на полусогнутых ногах я припустил к условленному месту за кинотеатром. Обратная сторона как раз граничила с забором. Я увидел Якушевых и ещё двоих незнакомых ребят из старшей группы. Семён шикнул:

– Чё опаздываешь-то? – замахнулся, обозначив подзатыльник.

Я чуть вжал голову в плечи и примирительно пояснил:

– Ждал, когда наши заснут.

Он критически оглядел меня:

– Зря ты, малой, в шортах припёрся. Там наверняка всё в крапиве. Ноги пожжёшь. А на кладбище крапивушка злая, зубастая.

– На мертвяках выросла, – добавил Вадим.

Я заметил, что Якушевы в отличие от меня практически облачились в одинаковые спортивные костюмы. Но только я вознамерился бежать обратно, чтобы переодеться, два спутника Якушевых зашипели, что времени нет, я или иду с ними сейчас, или просто возвращаюсь в лагерь.

Пытаюсь вспомнить, как выглядели те сварливые двое, и не могу. Перед глазами пара безликих овалов. У одного был фонарик. Он то включал, то выключал его, закрыв ладонью, и кожа руки набухла воспалённым малиновым светом...

Я заверил Семёна, что плевать хотел на крапиву. Мы по очереди перелезли через забор, потом ещё пробежали метров сто, чтобы случайно не попасться на глаза сторожу, бессонным вожатым или случайному туалетному ябеде.

Когда лагерь остался позади, мы пошли обычным шагом. “Овал” с фонариком вытащил пачку сигарет. Старшие с важностью, будто отрекались от детства, закурили. Мне же “овал” заявил:

– А тебе не предлагаю... – хотя я и не думал стрелять сигарету.

Ночь была светлой, рассыпчато-звёздной. Под жестяными конусами фонарей кружились маленькие смерчи комарья. Мне в лоб врезался подслеповатый мотылёк. Я поймал его – он был тяжёлый, как гайка, весь обваланный в белой пепельной пудре.

Мы, не крадучись, шли. Дворовые псы, слыша наши шаги и голоса, не лаяли, а лишь негромко дребезжали своими цепями, укладываясь на другой бок.

Посёлок закончился. Ветер принёс железную россыпь далёкого поезда. По шумному гравию проехала полуночная грузовая машина. Мощные фары высветили серебрянку крестов на противоположной стороне.

За шоссе оказалась незаметная ранее канава, полная топкой и гнилой влаги. Чертыхаясь, с промокшей обувью, мы ступили на кладбищенскую землю. “Овал”, владелец фонарика, подсветив снизу лицо, изобразил покойнический стон, но тут же схлопотал крепкого пинка от Вадима и немедленно заткнулся, даже не подумав выругаться.

– Ограды нет, – удивился Семён. – Ничего себе...

– Это только в городе заборы... – еле слышно отозвался “овал” с фонариком. Второй “овал” одними губами пошутил, что и без ограды мертвецы никуда не разбегутся.

Странно, но все без подсказок и договорённостей перешли с голоса на шёпот.

Я вдруг понял, что старшие нервничают, и мне тоже сделалось неудобно. До того я был совершенно спокоен, потому что чувствовал себя защищённым их невозмутимым взрослым присутствием.

Кладбище не имело чётких границ. Тумана не было, но пространство будто бы лишилось прозрачности и перспективы. Тут царил неподвижная мутная темень, словно над кладбищем нависало другое, незвёздное небо.

Нервный и бледный луч фонарика, шарящий по могилам, почему-то вызывал тревогу.

– Выключи! – приказал Семён.

– Почему? – спросил “овал”, но немедленно погасил фонарик.

– Разбудить кого-то боишься? – пошутил второй “овал” и вдруг осёкся.

Зашелестел ветер, но звуки он породил совсем не лиственные. Словно бы мы стояли на сцене и невидимый зал призрачных зрителей рукоплескал нам. Я ощутил, как по спине пополз вкрадчивый, потный холодок.

Мы замерли. Я слышал лишь, как настырно звенят возле моего уха комары, похожие на далёкие радиосигналы. Точно кто-то пытался пробиться через шумы и помехи, выйти на связь.

Мы прошли не больше полусотни метров, но, когда я оглянулся, шоссе уже потерялось. Где-то, далёкий, гремел поезд, но звук рассеивался, и было непонятно, в какой стороне шоссе. Нас окружал тесный лабиринт могил.

– Вы как хотите, а я обратно, – выдохнул братьям “овал” с фонариком.

– Иди, – пожал плечами Семён.

“Овал” поёжился и сделал вид, что ничего не говорил.

Неожиданно мы налетели на пустую могилу – или разрытую старую, или же новую, только ждущую своего постояльца. Как в булочной пахнет только хлебом, оттуда пахло одной землёй. Это был скупой, голый запах без примесей травы, кустов и прочей радостной зелени, населяющей поверхность. Пахло внутренностями земли, её тяжестью и сыростью.

– Сём, а тебе обязательно ленту? – я отважился на слова. – Может, банку возьмешь с цветами?

– Не, не поверят, – с сожалением произнёс Семён. – Банки и цветы можно где угодно найти. Нужна конкретно свежая могила с венками...

– С краю должны быть, – подсказал Вадим.

– А край где? – Семён огляделся. – Возле дороги? Или с другой стороны?

– Сёмыч, – взмолился второй “овал”, – давай свалим отсюда. Хочешь, я тебе свою ракетку отдам... До конца смены!

– Вот ты бздо!.. – весело удивился Семён.

Из туч неожиданная выглянула луна, но прибавила не света, а жути. Могилы обступали со всех сторон – их клыкастые кривые оградки скалились в каком-то полушаге от нас.

– Где-то же должна быть аллея, по которой люди ходят... – бормотал Вадим. Глянул в моё напряжённое лицо и вдруг дружески потрепал за волосы: – Чё, малой? Тоже ссышь? Держи, – и протянул коробок спичек, будто находящийся в нём запас огня был средством от страха.

Мы медленно двинулись обратно, потом свернули по колючей крапивной тропке куда-то в сторону.

Я не один раз пожалел, что надел шорты. Ноги горели, словно я пробирался через заросли колючей проволоки.

Через минуту мы вышли на утопанную дорожку с редкими кочками старого асфальта. Тут “овалы” заартачились, мол, дальше не пойдут. И, честно говоря, я их прекрасно понимал. Семён и Вадим отправились на поиски венка, я остался с “овалами”. На дорожке по-любому было спокойнее.

Снова зажётся фонарик, “овал” положил его на землю, и точно разлилось зыбкое лунное пятно, дымчатое от тумана, ставшего заметным лишь при дополнительном освещении. Стеллив-

шийся блёклым маревом туман не был цельным и плотным, а походил, скорее, на облачность, которая вдруг осмысленно потянулась к человеческому теплу и электрическому свету. Я оглянулся на “овалов”. Они курили, и казалось, это кладбищенские облачка поднялись и окутали собой их помертвевшие лица.

Моё внимание привлёк невысокий обелиск. Среди чугунных и деревянных крестов, железных тумб со звёздами и могильных плит нынешнего времени он смотрелся земским, из прошлого века, интеллигентом, каким-нибудь учителем или агрономом.

Заросшая буйными сорняками, могила напоминала доброе, бородатое лицо. Оградки не было, я подошёл вплотную к обелиску, стараясь не наступать на условный контур могилы: насыпь давно сровняло время.

Спичка не зажигалась, шаркала по коробку, и звук был громким, будто кто-то старательно вытирал подошвы о коврик. Крошечный сполох осветил табличку и погас, словно невидимое неслышно дохнуло на спичку. Я успел прочесть только фамилию – Мартынов.

Могила была заброшенная, запущенная, но мне подумалось, что в местной покойницкой иерархии, существуя такая, мёртвый Мартынов наверняка бы пользовался особым уважением. Ведь даже кладбищенский туман почтительно замер в нескольких метрах от обелиска.

Лишь с третьей спички я смог прочесть, что Мартынова звали Иваном Романовичем. Ниже находились довоенные ещё даты его начала и конца. Привычного фотоовала на обелиске не было.

И пока горела спичка, я переживал странное, очень тревожное ощущение, точно я был яблочным воришкой, который прокрался в ночной сад и с размаху налетел на старика-сторожа – такого, который сначала взгреет крапивой, а потом уже насыплет полную кепку крыжовника...

Спичка лизнула жгучей болью кончики пальцев и погасла. В этот же миг я испытал резкий толчок в грудь, словно кто-то отпихнул меня, чтобы я не загоразивал дорогу. При этом я понимал, что толчок идёт изнутри, а не снаружи – это вздёрнулось от страха и неожиданности сердце. Но раньше толчка, а может, одновременно с ним, раздался долгий, как комета, вопль – вначале пролетел его звуковой ком, а потом и панический хвост.

Я выронил коробок. Через пару секунд показались Семён и Вадим, они неслись по дорожке к нам, их сплетённые голоса переливались весельем и ужасом:

– Бежи-и-и-им!!! Бежи-и-и-и-им!!!

“Овалы” дуэтом подхватили панику – добавили истеричного визгу и тоже помчались по дорожке за Семёном и Вадимом, а я, молчаливый, следом...

Неожиданно и быстро мы вылетели за границы кладбища, оказавшись недалеко от шоссе. Бегство завершилось одышливым хохотом. Семён говорил, что они с Вадимом нашли-таки свежую могилу. Семён, конечно, не предусмотрел, что ему понадобится складной ножик. Подошёл вплотную к завалу из венков – и взялся отрывать кусок ленты, венки поползли вниз, а придурок Вадим пошутил, цепко схватил Семёна за щиколотку.

Вадим, хохоча, клялся, что не хватал и Семён нарочно это выдумал, чтобы оправдать свой вопль и испуг.

Мне оставалось лишь порадоваться, что Семёну не удалось его кощунство. Интуитивно я понимал – похоронные аксессуары красть с могил не следует. Оглядываясь на кладбище, я потирал болезненный ушиб в области сердца.

В историях о киношном гуру кунг-фу Брюсе Ли часто всплывала тема, что шаолиньский монах-киллер прикончил актёра тайным ударом, который убивает не сразу, а запускает в организме механизм смерти, растянутый на долгие месяцы.

Я не провожу никаких параллелей, мол, умерший полвека назад Иван Романович Мартынов стал для меня таким роковым монахом. “Смертельный удар” мы получаем сразу с нашим

рождением, и вопрос лишь в том, кто или что нам на этот факт укажет. Байку эту я привожу исключительно как метафору взросления – осознание “личной смерти”. Ведь именно с той кладбищенской ночи я впервые задумался, что однажды умру. Детство кончилось.

До двенадцати лет никто не называл меня Кротом, хотя кличка вроде бы валялась на поверхности – бери и дразни. А если учесть ещё очки, так вообще непонятно, почему в моей рыбнинской школе и в пионерском лагере меня называли хоть и на разные лады, но исключительно по имени – Вовкой, Вовчиком, Вованом. “Кротом” я стал в московской школе уже после развода родителей.

Я рад, что мы успели подружиться с отцом до того, как наша семья окончательно развалилась. После летнего лагеря он будто заново увидел меня. Стал общаться, помогал с уроками, дарил книги, купил роликовые коньки, которые я, неуклюжий, увы, не освоил.

Отец к тому времени уволился из школы и второй год промышлял репетиторством – преподавал математику, физику и английский, который ещё с институтской поры очень недурно знал. Зарабатывал хорошо. В доме у нас появились новые холодильник, телевизор и видеоманитонфон...

Гроза разразилась посреди шестого класса. Мать, так уж получилось, долгое время оставалась студенткой-недоучкой, но потом, ради карьерного роста на работе, снова поступила в вуз – на заочное отделение московского инженерно-экономического института. Там же она познакомилась (или, как сказала бабушка Вера, “спуталась”) с местным преподавателем.

Всё произошло как в скверной мелодраме. Мать вернулась после зимней сессии и призналась отцу, что “полюбила другого”.

Помню безобразные сцены с битвём посуды, после которых на полу валялись фарфоровые осколки, похожие на ископаемые акулы клыки. Отец точно волк выволок из шкафа и “задрал” мамину каракулеву шубу, которую сам же ей подарил месяц назад.

В итоге моя жизнь изменилась нелепо и быстро. Как ни грозился отец, что не отдаст меня матери, шестой класс я заканчивал в Москве.

Материного избранника звали Олег Фёдорович Тупицын. Не буду говорить, сколько литров желчного сарказма излил отец по поводу его фамилии, хотя Олег Фёдорович, конечно же, тупицей не был, а даже, наоборот, кандидатом наук. По мнению отца, мать специально, для пущего оскорбления, предпочла действующего столичного Тупицына отставному научному работнику, “скатившемуся” до репетиторства.

За время совместной жизни отец, по-видимому, изрядно достал мать, и она вцепилась в мужчину, полностью отличного от мужа. Большой, белый, рыхлый отец казался вылепленным из брынзы. Олег Фёдорович был невысоким, смуглым, поджарым, как богомол. Отец был типичным “физиком”, а “лирик” Олег Фёдорович преподавал право. Отец не умел водить машину, а у Олега Фёдоровича имелась иномарка “опель”. В отличие от вечно хмурого отца, Олег Фёдорович постоянно шутил, напевал. За те полтора года, что мы прожили вместе, он ни разу не повысил на меня голос, хотя поводов было достаточно. К себе он просил обращаться не по имени-отчеству, а просто “Олег”.

Нужно признать, человек он был неплохой. Обожал туризм и особенно подводное плавание. В первое же лето вывез нас с матерью в Крым на какую-то биостанцию. Мать, как заклинание, бубнила мне в ухо:

– Олег – классный мужик, – игриво толкала локтём, – тебе будет с ним ужасно интересно, вот увидишь!..

Но интересно мне с Олегом Фёдоровичем так и не стало. Он поначалу всё подсовывал мне маску и ласты, пытаясь приобщить к своему водоплавающему хобби. Но поскольку я не проявил интереса, Олег Фёдорович деликатно устранился.

Отцу я звонил редко, почувствовав однажды, что он обижен на меня. Быть может, отец ждал, что я повторю подвиг с лагерем и сбегу от предательницы в Рыбнинск. Но я почему-то этого не сделал.

Развод родителей дурно сказался на мне. Я впал в какое-то ленивое, полусонное состояние. Возвращался из школы домой и закрывался в своей комнате. Иногда читал, но больше смотрел по кабельным каналам фильмы – всё подряд.

Мать пыталась примирить меня со столицей:

– Не чужой тебе город, Вовка. Когда ты был совсем маленький, мы жили тут почти полгода. Ты и в садик здесь ходил, помнишь?.. – но Москва всё равно казалась чужой и враждебной.

На первой же перемене меня нарекли “Кротом”. Масла в огонь подлила классная руководительница, подивившись месту моего рождения:

– Кротышев! А город Суслов – это где?

Класс угорал: Кротышев из Сулова! Это при том, что название Суслов, конечно же, происходило не от грызуна, а от недобродившего пива – “сусла”. Да, собственно, и фамилия Кротышев, по моему мнению, не имела ничего общего с кротами.

На второй неделе одноклассники дошли до рукоприкладства. Без видимых причин. От настоящих побоев уберегли мои же очки – они почти сразу слетели на пол и хрустко раздавились под чьим-то ботинком.

Раньше я не знал такого обращения. Кое-как дотянув до лета, я наотрез отказывался осенью возвращаться в негостеприимную школу. Олег Фёдорович уговаривал потерпеть, мол за каникулы все подросли, дразнить больше не будут, что ко мне уже привыкли.

История с “кротом” и прочими мелкими издевательствами повторилась и в новом учебном году. Разве что к зиме азарт травли пошёл на убыль. Мать поговорила с классной руководительницей, та согласилась, что действительно меня “приняли в штыки”, но тому есть объяснение: большинство ребят вместе с первого класса – устоявшийся, очень амбициозный коллектив, а тут мало того что чужак, так ещё и двоечник...

Это было правдой. Успевал я из рук вон плохо – сразу по всем предметам.

Память старательно замалевала белым весь московский класс. Лиц не осталось: просто три десятка скорлуп. Коллективная фотография, похожая на яичный лоток. Если поднапрячься, то всплывут разве что первые фамилии переклички: Анисимов, Арутюнова, Богатикова, Волошин, Гоготов...

...Но была мёртвая сентябрьская ласточка, тленный индикатор и указатель, что жизнь чётко ведёт меня по направлению к кладбищу.

Глумливы Волошин и Гоготов подсунули птицу в мой портфель. Крикнули в самом начале урока:

– Элеонора Васильевна, а попросите Кротышева показать, что у него в портфеле!..

Миниатюрная географичка Элеонора Васильевна оказалась любопытной. На клювастых тупельках подсемила ко мне. Я поставил на парту портфель. Уже открывая, почувствовал мусорный, гнилой запах. Ласточка лежала полузавёрнутая в тетрадный клетчатый разворот поверх учебников.

Элеонора Васильевна на радость классу взвизгнула:

– Фу! Кротышев! Что за гадость ты таскаешь! Выйди! Выбрось немедленно!..

И пока я плёлся к двери с трупом на бумажном лафете, вслед мне несло:

– Крот убил ласточку!..

– Бедная Дюймовочка!..

– Птичку жалко!..

Веселилась даже Элеонора Васильевна. У шутников, оказывается, был не просто птичий мертвец, но ещё и драматургия с художественным прицелом на Андерсена.

Я вышел в коридор и направился к туалету. Раньше мне повстречалась учительница английского. Увидев, что я несу, крикнула вдогонку:

– Это инфекция! Поди во двор и выбрось в мусорку!

Баки для мусора куда-то подевались. Был вариант избавиться от ласточки, просто бросив её под дерево на садовом участке, но туда можно было попасть только через спортивную площадку, где проводили урок физкультуры, а я не хотел, чтобы меня увидели с мёртвой птицей.

Я и сам не заметил, как оказался за пределами школы. Очки застирала испарина слёз. Мне было очень обидно. Для себя я принял решение больше не возвращаться – ни на урок, ни в школу вообще. Я также пообещал себе не притрагиваться к осквернённому портфелю.

Со стороны для прохожих я выглядел, наверное, просто излишне жалостливым подростком. Я слышал, какой-то любопытный малыш вопрошал:

– Бабуля, птичка умерла? – а бабушка отвечала ему: – Нет, просто заболела...

Я по возможности сворачивал на те улицы, где было меньше народу. Пару раз пытался избавиться от ласточки, но попадался кому-то на глаза и тушевался.

Я свернул в очередной закоулок и очутился перед невысоким забором. За ним начиналась игровая площадка – пустая и неухоженная. Впалку трухлявел деревянный “мухомор”, с корнем были выкорчеваны ржавые качели. Двери и окна двухэтажного здания заколотили досками и листами фанеры. Очевидно, раньше тут был детский сад.

Стены пестрели граффити – бессмысленной аббревиатурой на латинице. Из внятного было только надпись “PHE” и фамилия “Баркашов”, в которой буква “о” была нарисована в виде закруглённой свастики.

А вот сразу под фамилией находился Незнайка: в голубой длиннополой шляпе и жёлтых клёшах среди высоких, как фонари, тюльпанов – настенная живопись советских времён. Краски вылиняли, потускнели, но, глядя на эти когда-то солнечные штаны, я болезненно и пронзительно вспомнил себя четырёхлетнего. Вот я топчусь возле Незнайки, скоблю ногтем облупившиеся чешуйки краски. А позади меня чужая игра, качели, песочница. Скоро будет обед, а потом мёртвый час...

Калитка была открыта. Я всё ещё был готов отнести это узнавание к разряду ложных. Но с каждым шагом ощущение моего прошлого бытия тут усиливалось. Я готов был поклясться, что помню качели и лавочки, что мне знакома география асфальтовых дорожек. Я подошёл к песочнице, на полном серьёзе ожидая увидеть там потешное кладбище моего раннего детства...

Утопанный недавней непогодой песок напоминал огрызок пляжа, только унесённый подальше от водоёма. Валяющиеся повсюду камушки и щепки совсем не походили на мозаику бывшего кладбища. Зато валялся позабытый кем-то игрушечный совок.

Я присел на отсыревший деревянный бортик и наконец-то сгрузил ласточку на песок. Первый раз в жизни я видел ласточку так близко. Так подробно. Живые, они стремительно проносились где-то в вышине, почти неразличимые в полёте. Раньше мне казалось, что ласточки размером по меньшей мере с голубя. А передо мной лежала жалкая чёрно-белая канарейка. Длинный раздвоенный хвостик оципан. Тонкие, будто из железной проволоки, скрюченные лапки заканчивались крошечными хищными коготками. Клюв приоткрылся, как лопнувшее

семечко подсолнуха. Обращённый ко мне глаз был затянут бледным и маленьким, словно волдырь, веком.

Пахнуло сладковатым табачным духом. За моей спиной стояли двое. Я даже не услышал, как они подошли, скорее, запоздало учуял. Девчонке на вид было лет четырнадцать, а парень выглядел помладше.

Девочка оказалась мне волнующе красивой, хотя, смой с её лица всю взрослую косметику, она стала бы похожа на мышонка. Одета она была, на мой взгляд, безупречно – джинсовая мини-юбка, фиолетовые лосины и короткая курточка-“варёнка”. Старательный начёс прихватывал яркий синий обруч. На парне были дутые спортивные штаны, футболка с какой-то металлической рок-группой и кожаная куртка – явно с чужого плеча, потому что именно в плечах она и подвисала. Выглядел он как полноватый Джон Коннер: смазливый пасынок второго, уже человеколюбивого, терминатора.

– Это вообще-то наше место, – девчонка, потрогав ладонью бортик, присела рядом, изящно пулынула в кусты дымящийся окурок. Спросила Коннера: – Толстый, что-то я не припомню... Он ведь не из нашей песочницы, да?

Коннер не ответил, неприятно улыбнулся и сплюнул себе под кроссовки.

– Чёрт, песок набился, – девчонка сняла туфлю, постучала ей по бортику. – Ой, а тут птица дохлая... Это ты её принёс? – обратилась уже ко мне.

С внимательным равнодушием она посмотрела на ласточку, отряхивая со стопы песочные крошки.

– Прикинь, – девчонка лениво повернулась к Коннеру, – никогда раньше не видела ласточки вблизи. Вроде когда летают, такие милые... Толстый, он похоже хоронит её тут собрался!.. У него и совок. Эй! Что молчишь?.. Чего испугался? Толстый, ха! Он нас боится!

– Я из вашей песочницы, – слова дались мне неожиданно тяжело. Сердце от волнения сделалось тяжёлым и горячим. – Тебя зовут Лида. Или Лиза... А его, – я кивнул на Коннора, – Максим. Он всегда такой молчаливый... Я тоже был в этом детском саду. Девять лет назад. А в песочнице у нас было кладбище... Ненастоящее, конечно. Мы жуков-солдатишков хоронили. И ещё с нами Ромка водился – памятники делал...

Девочка надела туфлю и посмотрела на меня. Лицо её замерло, напряглось:

– Значит, у нас тут было кладбище домашних насекомых? А он, – кивнула на раскормленного Коннера, – Максим?..

– А ты Лида, – ломким хрипловатым голосом сказал Коннер. – Или Лиза...

Они посмотрели друг на друга. И отвратительно, с собачьим улюлюканьем, расхохотались.

В школе я не появлялся около недели. Просто уходил по утрам и шлялся по городу до условного окончания уроков. Классная руководительница позвонила узнать, что со мной, и дома разразился нешуточный скандал. Я тогда ещё не знал, что мать беременна. Хотя это объясняло, почему нервы у неё сдали – она чихвостила меня последними словами. Я, в свою очередь, обозвал мать проституткой и предательницей, после чего схлопотал от неё увесистую пощёчину.

А вот Олег Фёдорович показал себя с наилучшей стороны, не кричал и не осуждал меня. Спокойно разобравшись с причиной прогулов, даже пошутил, что дал бы мне свою фамилию, но боится, что Тупицыну будет куда хуже, чем Кротышеву. А я и ему нагрубил. Шипел сквозь слёзы, что ненавижу его и Москву, что горжусь моим отцом и своей фамилией...

В итоге порешили перевести меня в соседнюю школу. Неделю я провёл под домашним арестом, мы пытались как-то помириться и успокоиться.

Потом были каникулы. Наступило очередное серое утро ноября, и прозвучал телефонный звонок, после которого мать, чуть замявшись, сказала мне, что у нас несчастье – умер дедушка Лёня...

И все школьные обиды, конечно, отошли на задний план. На похороны я поехал один, потому что отец категорически не желал видеть мать в Рыбнинске. Меня посадили на поезд, попросив проводника приглядывать за мной, хотя ехать было, в общем, недалеко.

На сами похороны я опоздал, потому что поезд приезжал к полудню и гроб с телом уже увезли на кладбище. В нашей квартире меня ждала соседка по площадке – тётя Марина. Когда мы ещё жили одной семьёй, мать изредка поддразнивала отца, говоря, что ему бы по возрасту, весу и темпераменту в жёны очень подошла бы толстая, немолодая тётя Марина.

Она принялась меня утешать и жалеть. Так что, когда вернулись с кладбища отец и бабушка, я окончательно раскис. Конечно, я очень горевал по дедушке, но больше всё-таки оплакивал себя – затравленного, всеми нелюбимого Крогышева тринадцати лет от роду, для которого даже поездка домой оказалась возможной только из-за похорон.

Бабушка за минувший год не изменилась. И в трауре она оставалась сдержанной дамой. Поцеловав меня, тихонько сказала:

– Хорошо, что приехал...

А вот отец выглядел постаревшим и измождённым, словно на него внезапно обрушились все стариковские обязательства умершего деда. Увидев меня, отец уныло кивнул, будто мы расстались пару часов назад.

Возле бабушки находился мужик – увесистый и крепкий, лет тридцати пяти. Он был бы похож на отца, если бы не коротко остриженная голова с глубокими залысинами и смешным, выступающим мысыком волос, напоминающим ухоженный заячий хвост. Одет в спортивного фасона штаны тёмно-серого цвета и чёрную рубашку с коротким рукавом. Две верхних пуговицы были расстёгнуты, открывая золотую цепь с образком, который я принял за солдатский жетон, только позолоченный. На поясе, сдвинутая вбок, как кобура, висела чёрная матерчатая барсетка.

Заметив мой взгляд, мужик произнёс:

– Ну, давай знакомиться, братик. Я Никита. Ты хоть слышал обо мне? Бать? – он повернулся к отцу.

– Слышал... – хмуро подтвердил отец. – Владимир, это твой сводный брат, – сказал и ушёл в гостиную. Там тётя Марина и вторая соседка помогали бабушке накрывать поминальный стол.

– Наконец-то свиделись, – продолжал Никита. – Жаль только, что повод такой... – Он громко, во всю щёку, цыкнул, показав обойму золотых зубов: – Но я рад тебя видеть! – от его дыхания несло куревом.

– Я тоже рад, – соврал я.

Для старшего брата Никита был слишком уж взрослым. Такого могли бы и с папашей спутать – причём таким папашей, который вернулся из мест заключения. На правой кисти у него красовался грубо татуированный орёл – как на этикетке джинсов “монтана”, только в лапах у него были венок и меч.

Я вдруг подумал, что для отца Никита тоже большое разочарование. С той небольшой разницей, что это разочарование, судя по всему, в обиду себя не давало. Наоборот, само кого хочешь обидело бы.

В дверях топтались ещё двое – такого же грубого помола, как Никита. Будь тут мать, она точно окрестила бы их “бандитскими мордами”. Они и правда выглядели точно какие-нибудь рэкетеры.

– Братан мой младший, – показал на меня Никита.

Я пожал два грубых, загребущих ковша. У одного на пальцах были отбиты до черноты ногти, словно ему на руку уронили каменную плиту.

Эти двое, видимо, были всё же не товарищами, а подчинёнными, потому что Никита в доме их не оставил. Как бабушка ни просила задержаться, они, глядя на Никиту, сослались на дела. Лишь на пороге выпили, не чокаясь, по стакану водки, попрощались с Никитой, сказав, что будут ждать его в гостинице.

За столом нас было немного: бабушка, папа, мы с Никитой, две соседки, папин друг детства физрук дядя Гриша и его супруга. Кто хотел, говорил прощальные речи. Никита сказал неожиданно лаконично и хорошо:

– Жил честно, умер кротко. Земля пухом!

Он выпил больше других, но алкоголь никак на нём не сказался, разве что порозовели щёки. А вот худой как жердь дядя Гриша к концу обеда уже подрёмывал, просыпаясь лишь от тычущего локтя жены.

Беседа с братом произошла на балконе. Было прохладно, так что я захватил куртку, а Никита набросил на плечи свою толстовку из плотной байки.

Сначала мы чуть помолчали, затем он спросил:

– Ну, как жизнь?

– В школе учусь... – больше я не знал, что ответить.

– Бабуля говорила, в Москве живёшь. Я вот тоже туда собираюсь. В Подмосковье, точнее. Практически соседями будем... – он положил мне на плечо тяжёлую руку.

Я злорадно представил материно выражение лица, если бы она вдруг увидела на пороге Никиту. И её Тупицын, наверное, тоже бы здорово перетрухнул от такого гостя. Им-то и в голову не приходило, что может существовать версия отца с каменными мужицкими ладонями и жёстким, как бетон, взглядом.

– Хорошо, наверное, учишься? – Никита обернулся и поглядел в комнату. Отец в это время что-то говорил, подняв рюмку. Я понял, что Никита интересуется, пошёл ли я мозгами в нашего умного родителя.

– Не... Плохо... Совсем, – признался я. – Двойки в четверти.

Но Никита почему-то был доволен моим ответом.

– Ничё, я вот тоже херово учился, – он усмехнулся, хлопнул по барсетке. – Но бабос водится... Слушай, – тут лицо его сделалось заговорщицким. – А тебе батя тоже часы дарил?

Я с удивлением посмотрел на Никиту:

– Да, на девять лет.

– Такие? – Никита полез в нутро барсетки и вытащил близнеца моей “Ракеты” – с циферблатом на двадцать четыре деления. – Которые биологические?

– Ага... – я неуверенно улыбнулся. – Я тоже их на руке не ношу. В кармане нагрудном.

– А покажи...

Я достал мои часы и отдал Никите. Он взял их и около минуты сравнивал со своими часами. Явных отличий не было, только у Никиты был стальной браслет, а не кожаный ремешок. Ну, и время часы показывали разное.

– Действительно одинаковые, – Никита протянул мне мою “Ракету”. – И что, заводишь каждое утро? Да?! О, два дурака – пара! Именно что братики! – он по-доброму засмеялся. – Я вот тоже – каждое утро, прикинь?! И никому про них не говорю. А для точного времени у меня “моторолка”... – Никита вытащил из барсетки мобильный телефон, деловито глянул на экранчик, сказал озабоченно: – Звонили... – и сунул обратно. – А что тут у нас на биологических натикало? Нормально, третий час ночи! То-то мне спать хочется...

Никита бережно спрятал часы. Чуть задумался, спросил через затяжку:

– А Кротом дразнят?

Я весь сжался, потому что вопрос был из разряда насущных:

– Иногда...

– И чё? Морды бьёшь?

– Нет... – я отвернулся. Мне было стыдно перед братом, что я мало того что бестолочь, так ещё и слюнтяй.

– Ну, мож, и правильно, – успокоил Никита. – Я вот, помню, бил... Прямо зверел! – лицо его на миг ожесточилось. – А всё равно Кротом называли. И в школе, и в бурсе. Боялись до уссачки, уважали, а за глаза дразнили... Вот эти два кренделя, ну, которые ушли. Прикинь, на меня работают, а между собой, точно тебе говорю, Кротом называют, суки...

Я почему-то вспомнил отбитые ногти на руке и подумал, что Никита вполне мог бы в отместку уронить что-то тяжёлое на пальцы обидчику.

После обеда Никита засобирался. Я стоял в дверях гостиной и слушал, как в прихожей бабушка и отец прощаются с ним. Отец, осанясь, бормотал, что хотел бы разделить кладбищенские расходы. Брат мучительно, словно от зубной боли, кривил рот:

– Бать, ну, какие деньги, о чём ты говоришь, не обижай...

Пока отец и Никита стояли рядом, я с любопытством сличал их родство. У отца был отвесный, как обрыв, лоб, а у Никиты покатый, похожий на склон оврага. Глаза Никита унаследовал серые, отцовские, но глядел так, будто каждую секунду целился – злой, чёткий прищур. Носом же Никита, наверное, пошёл в мать – классическая “картошка”, но облик в целом, рот, мягко очерченный, красивый подбородок – всё это было кротышевское.

Бабушка обняла его:

– Спасибо, Никитушка, ты всё очень хорошо организовал. Мы бы и не справились сами. Только памятник всё-таки попроще сделай, без изысков. Вот такой, как ты показывал на первой фотографии, – самая обычная плита и цветник...

– Бабуленька, – Никита с нежностью погладил бабушку по спине, – сделаем как надо, из гранита. Привезём, поставим, но когда могила усядет. Ты вообще ни о чём не беспокойся... Бать, – он показал рукой в гостиную, – глянь, там Гришка твой чудит, опять наливает. Чтобы ему плохо посреди комнаты не стало...

Отец прошагал мимо меня в комнату. А Никита быстро достал из барсетки пачку денег, прихваченную резинкой, и вложил в руку бабушке.

– Никита, – вздохнула бабушка. – Не надо...

– Родная, я тебя прошу... – Он посмотрел на меня и поднёс палец к губам: – Бате ни-ни!.. Понял?

Я поспешно кивнул.

– Вот что, братик, – сказал Никита. – Презента у меня для тебя нет. Я и не знал, что свидимся... Погоди, – он вытащил двумя пальцами полдюжины новых тысячных купюр и застегнул барсетку. – Купи себе, что сам захочешь – пейджер какой-нибудь или часы, – подмигнул, – нормальные. И бабулю не забывай, звони почаще.

Никита накинул на голову капюшон толстовки и стал похож на весёлого монаха:

– Давай пять! – крепким пожатием расплющил мне кисть, приобнял. И ушёл.

Через несколько месяцев Никита коротко появился в Рыбнинске, чтобы передать отцу биологические часы на хранение. У него начинались проблемы с законом. Позже я узнал, что брату вlepили четыре года за вымогательство – он излишне жёстко, с побоями, “отжимал” у кого-то в Подмоскoвье гранитную мастерскую.

Дедушкина смерть в конечном счёте вернула меня в Рыбнинск. Хотя, конечно, тому сопутствовали и другие обстоятельства. Классная руководительница в “приватной” беседе заявила матери, что школу я не тяну: меня с большой вероятностью оставят на второй год, а это станет дополнительной травмой.

Олег Фёдорович настоял, чтобы мать наведалась ещё к детскому психологу. Тот, посмаковав на все лады мою ситуацию, посоветовал: мол, будет лучше, если я просто вернусь в привычную обстановку, то есть в Рыбнинск.

А там обстоятельства складывались по-своему. Отцу неожиданно позвонили из Алабьевска-Суслова и предложили должность в НИИ. Забрать с собой бабушку он, конечно же, не мог, но отказываться от работы тоже не хотелось. Выход напрашивался сам собой. Было решено, что я останусь с бабушкой, буду помогать, а учёбу продолжу в прежней рыбнинской школе.

Так что в июне мы с бабушкой перебрались в отцовскую квартиру, а бабушкину однушку сдали – это была хоть и скромная, но всё ж прибавка к её пенсии.

В конце лета на повидавшей виды “газели” приехали двое жилистых молдаван: один в летах, второй помоложе и с нарывом на щеке. Они привезли обещанный Никитой памятник для дедушкиной могилы. У старшего молдаванина было необычное имя – Раду (бессарабская экзотика), а того, что помладше, звали Руслан.

Гости сразу предупредили, что стела памятника с небольшим “декоративным дефектом”, но каким – не уточняли. Бабушка успокоила их, сказав, что всё это не важно, пригласила за стол перекусить. Спросила, должна ли что-то за памятник и его установку. Раду ответил, что ничего не должна и работу они сделают бесплатно. При этом всё время потирал шею, словно Никита заранее, перед тем как сесть в тюрьму, авансом накостылял ему.

Младший, Руслан, стесняясь, добавил, что деньги понадобятся на утешительную мзду сотрудникам кладбища – никто не любит, когда работу делают чужаки, – и на необходимые подсобные материалы: щебень, песок, цемент, клей, трубы, тротуарную плитку, канистры для воды и прочую дребедень.

С утра пораньше мы заехали на строительный рынок, где молдаване загрузились всем необходимым, после чего отправились на кладбище. “Газель” давно приспособили под перевозку грузов. Кресел внутри не было, я просто уселся на подставку для памятника, похожую на огромную деталь конструктора “Лего”. Рядом на кусках ветоши лежали чёрные полированные бруски и тумбы для цоколя.

Стела покоилась на солдатском одеяле. Выглядела она очень солидно и напоминала крышку рояля. К ней был прикреплен эмалированный фотоовал с дедушкиным портретом и подписью “Кротышев Леонид Николаевич 1916–1999”.

Я хорошо знал эту фотографию. Копия висела когда-то на Доске почёта возле проходной дедушкиного завода. Удивлял разве что размер овала, он был в два раза крупнее тех, что я видел раньше. Лицо на нём мало того что было в натуральную величину, так ещё и отличалось какой-то повышенной контрастностью и резкостью, словно бы портрет доступными ему выразительными средствами старался докричаться, заявить о своём присутствии в мире живых. И от этой визуальной пронзительности почему-то делалось тревожно и тоскливо.

Раду сторговался с местными, и те помогли донести к дедушкиной могиле неподъёмную гранитную стелу. А прочие каменные элементы и мешки со строительными материалами Раду и Руслан, кряхтя, притащили сами.

Мне было неловко сидеть рядом – молдаване чего доброго могли подумать, что я присматриваю за ними, чтобы потом отчитаться Никите. Я то и дело уходил в прогулочные рейды по кладбищу и работу видел отрывками: вот роют неглубокий котлованчик, уплотняют дно песком и щебнем, забивают по углам арматурины, укладывают трубы, дорожную сетку, заливают раствор, облицовывают фундамент плиткой, стучат киянками, промеряют бордюры ватерпасом, затирают цементом швы...

А кладбище жило своей земляной жизнью. Издали я наблюдал похоронные церемонии – их было за день четыре или пять. Я старательно выдерживал дистанцию, понимая интимность события. Люди украдкой зарывали свой клад на острове мёртвых сокровищ. Сколько их бывало? Пятнадцать, двадцать человек на сундук с мертвецом...

Слова пускали корни в моей голове: “кладовка”, “склад” – места, где прячут; “вкладыш”, “закладка” – то, что прячется, “кладовщик” – тот, кто хранит. Далёкий плач бывал похож на истерично-заливистый хохот. Однажды так смеялась наша училка по химии, когда трудовик рассказал ей загадку: “Что общего между прокурором и презервативом? Оба гондоны!”

Лица у молдаван были хмурые, они сварливо переговаривались на своём смуглом виноградном языке, из понятного оставляя лишь названия инструментов и матерные ругательства: “Лаур-балаур-хуйня, лаур-балаур-шпатель”.

К вечеру они посадили на бетон цветник и подставку, замесили клей и бережно опустили стелу в продольный паз подставки, подложив предварительно дощечки, чтобы не повредить полировку на кантах плиты. Ловко вытаскивая по одной дощечке с каждой стороны, опустили стелу. Выступившие излишки клея Раду аккуратно вытер ветошкой, смоченной в ацетоне. После чего сказал:

– Через сутки намертво схватится...

– Но землю в цветник лучше через неделю насыпать, – добавил Руслан. – Раньше не надо, пусть всё подсохнет...

Я обошёл вокруг готового памятника. Случайный взгляд под углом позволил мне заметить тот самый косметический “дефект”, о котором предупреждали бабушку молдаване, – раньше он был не виден.

На обратной стороне, которая раньше считалась фронтальной, находилось четверостишие. Курсив, которым его нанесли, после старательной шлифовки был призрачно бледен, как давно зарубцевавшийся шрам:

За смертной гранью бытия,
В полях небытия,
Кто буду – я или не я,
Иль только смерть ничья?

Я начинал догадываться, в чём дело. И стелу, и эпитафию заказали какие-то другие люди, а потом по непонятной причине работу забраковали. Нам достался хоть и гранитный, но секунд-хенд.

Я раз за разом перечитывал строфу, силясь понять, о чём она. Моё молчание молдаване приняли за оторопь.

– Что? Снимать? Обрато везти, да? – горько воскликнул Раду. – Я же предупреждал, что есть дефект! Сами сказали – не страшно...

– Можно декоративную плитку, – убито произнёс Руслан, трогая пальцем свою болячку на щеке. – Поверх!..

– Не надо снимать, – сказал я. – Пусть остаётся как есть.

До последнего я был уверен, что с армией как-то да обойдётся. Интернет подвёл меня. На каком-то форуме я вычитал, что если на попечении находится престарелый родственник, такого призывника-няньку автоматически освобождают от службы. А тут ещё и моя близорукость – кому я вообще такой нужен в армии?

Активные боевые действия в Чечне уже пару лет как закончились, и особого повода для тревог не было. Я расслабился и вместо того, чтобы консультироваться у адвокатов, оформлять необходимые бумаги, сидел дома перед монитором, самозабвенно гоня по городским лабиринтам спецназовца с дробовиком и базуккой.

Что я себе воображал? Когда настанет час икс, я скажу в военкомате: “Ой, вы знаете, а мне в армию нельзя, у меня бабушка нуждается в постоянном уходе”, а они мне так сочувственно: “Да, это очень уважительная причина, Кротышев. Возвращайся домой”. Смешно и грустно...

Понятно, бабушка в силу возраста не могла заниматься моими проблемами, отец находился за тысячу километров, мать четвёртый год нянчилась в Москве с малолетним братцем по имени Прохор. Она активно зазывала меня поступать в институт к своему Тупицыну, но я не поехал, решив держать экзамены в Рыбнинске.

Выбор был небольшой. Уже несколько десятилетий молодёжь Рыбнинска поступала в два вуза: педагогический институт или судостроительный (филиал московской академии водного транспорта). В педагогический я решил не соваться, туда косяком валили выпускники рыбнинского педколледжа. А в судостроительном только открылся факультет менеджмента и права.

Не знаю, что за оптический казус приключился со мной. В принципе, можно сказать, что мою службу в армии, пусть и опосредованно, подстроили биологические часы. Я поутру листал институтскую брошюру из судостроительного, которую мне одолжил Толик Якушев. Там вроде было написано, что на менеджмент нужно сдавать русский, историю и обществознание. Я заложил нужную страничку часами, а до того прилежно завёл их. Потом собрался зачитать бабушке найденную информацию, схватил брошюру со стола и выронил часы на пол. Дико всполошился, не разбил ли – до того случая я ни разу не ронял их. С часами, к счастью, ничего рокового не случилось. Я на радостях забыл про брошюру, а через день подал документы на менеджмент.

Но оказалось, что этот целиком гуманитарный список был на юриспруденцию! А менеджмент относился к экономике и управлению, и там оказалась чёртова математика. Она, кстати, шла первым экзаменом, который я благополучно провалил, – так что меня не приняли бы и на платной основе.

А потом пошло-поехало. Выяснилось, что бабушка, конечно же, не находится на моём попечении и, кроме этого, имеется отец, то есть бабушкин сын, который может осуществлять над ней опеку в моё отсутствие. Дело в том, что он посреди лета неожиданно нагрянул из Сулова в Рыбнинск – как обычно, не поладил с кем-то в своём НИИ. Удивительно, что он вообще протянул без конфликтов так долго – с годами отец стал куда мягче...

В общем, для государства никого я не опекал, а близорукость всего лишь перевела меня в категорию “Б”. Я был годен к военной службе с незначительными ограничениями.

Поначалу я даже не понял, в какие войска попал. ВСО звучало солидно, почти как ПВО – противовоздушная оборона. Глаза мне открыл Семён Якушев, год как вернувшийся из армии.

Толик на дому организовал для меня что-то вроде проводов. Сам-то он благополучно поступил в судостроительный на наземные транспортные средства.

Мы заседали небольшой компанией уже бывших одноклассников. Потом на рюмку заглянул старший Якушев – Семён, с товарищеским напутствием.

Наша компания всё пыталась угадать, в войска какой обороны я попал:

– Военно... э-э-э... стрелковая оборона?

– Стратегическая? – предположил я.

А Семён сказал:

– ВСО означает “военно-строительные отряды”. В простонародье – стройбат.

Это произвело такое же впечатление, как если бы из врачебного кабинета вышел доктор с чернильным рентгеновским снимком и во всеулышание заявил, что у меня рак.

– Н-да... – произнёс Толик. – Херово... Как же так?.. Сём, а можно поменять род войск?

Мир покачнулся. На всё тех же интернет-форумах о стройбате писали почти как о военизированном филиале ГУЛАГа: отстойник, армейский лепрозорий, куда ссылают паршивых овец всех сортов – уголовников, кавказцев, недоумков и близоруких доходяг.

– Да не ссы! – Семён задорно подмигнул: – Знаешь, как говорят? Кто служил в стройбате, тот смеётся в драке!..

В другой момент я бы по достоинству оценил величественную, ордынскую красоту поговорки, но тогда мне прямо вживую привиделся сабельный взмах ржавой лопаты и хохочущее, рваное лицо в щербатом оскале.

– Ну, стройбат, – утешал Семён. – Зато не будут драть со строевой подготовкой. Профессию получишь. Главное, не бойся ничего. В армии кого не любят: ссыкливых, жадных, – он загибал для наглядности пальцы. – Чушканов очень не любят. Поэтому следить за собой надо, мыться, чиститься... Стукачей... Видишь – всё не про тебя! Ты нормальный пацан, не бздливый, я ж тебя ещё с лагеря помню, когда на кладбище ночью бегали...

Я по-доброму завидовал Семёну. Он-то являл собой обаятельный дворовой типаж: задорный, наглый, крепко сбитый хлопек, весь из чётких движений и ухмылочек. Я же, по моему мнению, выглядел как сортовой образчик ботана.

Семён ещё долго объяснял мне, как себя вести в сложных ситуациях, возникающих на пути казарменного духа. Я, борясь с желанием записать щедро сыплющиеся мудрости на листочек, кивал, благодарил. Но внутри голосила и раскачивалась самая настоящая паника.

Нужно признаться, что это и был самый страшный период моей службы – неделя до неё. Отец почему-то совсем не переживал из-за того, что я ухожу в армию. Весь его вид как бы говорил: “Что может с тобой случиться плохого, сын, если твои биологические часы остаются у меня?”

Это спокойное безразличие подействовало на меня благотворно. Или же я просто устал бояться.

Октябрьским утром отец проводил меня к военкомату. Небольшой двор в течение часа напоминал гомонящий короб, полный куриных птенцов, пока сиплый, надорванный старлей не загнал всю ораву в автобус. Потом был областной комиссариат, где нас рассортировали по воинским частям, и второй автобус.

Жизнь вела меня дорогами детства. На рассвете, проснувшись, я увидел полуовал природоохранной стелы и метровые буквы – “Белгород”, а следом и сам город, через который тринадцать лет назад пролёг кочевой маршрут отцовской гордыни. Пока мы ехали, я томительно и безуспешно выглядывал голубую церковь, в которой когда-то бывал с бабой Тосей.

Военная часть находилась в глухом пригороде. Возвели её относительно недавно – двухэтажные длинные бараки с окнами-стеклопакетами выглядели очень современно. Сразу за забором начинались сельскохозяйственные окрестности и бетонные зачатки каких-то буду-

щих строек, пахнувшие битумом. Где-то неподалёку, видимо, находился пивоваренный завод, потому что ветер порывами приносил дурмящий аромат солода.

Я уже мысленно готовил себя, что здесь, среди степей и фундаментов, и пройдут мои армейские годы, но на плацу нам сразу разъяснили, что большинство пробудет тут до присяги, а после мы отправимся в места постоянной службы. То есть это был “карантин” – как бы предбанник будущего стройбатского ада, после которого я, если выживу, буду смеяться в драке.

Вместе с нашим автобусом приехали ещё два, и всего набралось около полутора сотен призывников – как раз на одну роту. Нас построили в три шеренги, разделили на взводы и отделения. Командир части произнёс напутственные слова. После завтрака, вполне сносно, старшина в казарме записал наши размеры одежды и обуви, а по окончании медосмотра повёл на вещевой склад.

Полдня под присмотром вьедливых, как щёлочь, сержантов мы по пять раз перешивали шевроны, пуговицы и подворотнички, учились правильно заправлять кровати. Потом обедали и до самого ужина отработывали построение, пока не исчезла броуновская бестолковость и суета.

С первого дня я ждал, когда же начнётся дедовщина. Ведь “деды”-то у нас имелись в изобилии – полсотни человек: взвод-ные, повара, котельщики, – все, кто обслуживал нашу воинскую часть. Всякий раз после отбоя я готовился к страшным ночным событиям – пробиванию грудной “фанеры” и прочим хрестоматийным издевательствам, о которых предупреждали на форумах знатоки и очевидцы. Но по факту была лишь утомительная муштра, одышливые утренние кроссы, строевая подготовка, занятия, наряды: на кухне, по уборке помещений и дежурство “на тумбочке”. Нет, конечно, мелкие издевательства имели место, но носили они, скорее, профилактический характер. Честно говоря, без них недавний бездельник просто бы не включился в суровый солдатский режим. А настоящая дедовщина, видимо, откладывалась на более поздний срок.

Не скажу за весь стройбат, но в нашей роте преобладали всё же не социальные отбросы, а самые обычные ребята с твёрдой и нужной профессией в руках. Они даже не комплексовали, что попали сюда. Наоборот, были по-своему довольны – эти маляры и сварщики, электрики и плиточники, потому что реально рассчитывали подкопить за службу денег. Оказывается, в стройбате платили, а тем, кто работает хорошо, вообще давали нормально подшабашить на частных объектах.

А вот для близоруких неудачников, которые не поступили в институты, и прочих выбранных городских трутней существовала одна перспектива – в “неквалифицированные разнорабочие”. Об этом мне ободряюще сказал на собеседовании командир роты, капитан Морозов – мол, землекоп первого разряда из рядового Кротышева получится в любом случае.

Если перевести известную рифмованную присказку “три солдата из стройбата заменяют экскаватор” в терминологическую прозу строительных тарифов, то в функции начинающего землекопа входили разработка простых траншей и котлованов без креплений, погрузка и засыпка. А дальше уже начинались сугубо профессиональные изыски – работа с пневмотехникой, закладывание насыпей и откосов, укладка труб, химическое оттаивание мёрзлых грунтов...

Как в экономике товарно-денежные отношения назывались капиталом, так всякая земля при строительных работах обобщалась словом “грунт”. Капитан Морозов прочёл нам об этом целую лекцию. Грунт бывал скальным, песчаным, глинистым, торфяным и по сложности разработки делился на четыре категории. Первая: чернозём без примесей и корней, рыхлый лёсс, песок; вторая: чернозём с примесью щебня, гравия, с корнями кустарников и деревьев; третья: глина жирная со щебнем, гравием и долей строительного мусора. И даже спустя годы, если я слышу о грунте четвёртой категории, поясница и суставы вмиг наливаются фантомным свинцом былой усталости – сланцевая глина...

Потом была присяга – единственный день за всю мою службу, когда я подержал в руках оружие. В остальное время мне доставались исключительно орудия труда: лопата, кирка и лом.

На присягу в часть приехала мать, и не одна, а с малолетним братцем Прохором. За минувшие полгода он подрос и сделался говорящим, а до того щебетал на каком-то невнятном пернатом наречии.

Прохор устал от дороги и капризничал. Мать успокаивала его забавной фразой: “Прошка, не басы!” – и он тут же замолкал, беззвучно потешаясь над этой наигранной суровостью.

А лет пятнадцать назад мать обращалась и ко мне с такой же просьбой – “не басить”. Меня почему-то ужасно умилило, что часть моего прошлого теперь будет донашивать и Прохор. Чтобы мать не поняла, как я растроган, спросил язвительно:

– Ма, а вот почему ты не говоришь про Белгород – что “не чужой мне город”?

Сказал и пожалел, потому что у матери сразу сделалось такое виноватое лицо. А я давно уже перестал обижаться на неё за Тупицына, развод и полтора года жестокой Москвы. Повзрослев, я понимал, что единственная вина матери в том, что в восемнадцать лет она выскочила замуж за солидного и занудного доцента. Выросла в семье без отца и со своей мамашей отношения поддерживала очень формальные. Что-то там было нехорошее в их совместном прошлом, раз эта “бабушка Нина” ни разу не проявилась в нашей жизни.

Когда мы прощались, я нарочно выдумал, будто бы ребята и командиры спрашивали – не моя ли жена с ребёнком приехали? Мать была в восторге. Хотя она и правда выглядела молодо: худенькая, стройная, в коротеньком модном пальто, да ещё на каблукках – издали больше двадцати пяти не дашь.

На прощание я насыпал Прохору в птичью его ладошку горсть “золотых” петличных бирюлек, которые зачем-то купил заранее в нашем военторге.

А со следующего дня стали приезжать “покупатели” из военных частей. Сначала разбирали ценный материал: штукатуров, сварщиков, электриков. А под конец остались мы – неквалифицированные разнорабочие. Но и на наш контингент нашёлся спрос. К вечеру за мной и прочими неумёхами явился долговязый капитан с женственной фамилией Бэла. Проверив наши фамилии, Бэла велел грузиться в подъехавшую к КПП “газель”. Мы отправлялись служить на военно-ремонтный завод.

Возможно, мне просто в очередной раз повезло. Завод, куда я попал, оказался тихим и крепким хозяйством. Его обслуживала всего одна рота на сто двадцать человек. Там имелись цеха – механический, литейный, электродный, гальванический и деревообрабатывающий. Работа в последнем считалась самой ненапряжной, и там в основном ленились дембеля.

Завод был относительно благополучным. К примеру, последний несчастный случай тут произошёл лет десять назад, хотя история о нём передавалась из уст в уста: какой-то солдатик в нетрезвом виде принял поистине царскую кончину, как из сказки про Конька-горбунка, – провалился в технический колодец с горячей водой и там сварился.

Нашу партию везли не только для работы в цехах. Начиналась закладка нового ангара, и завод нуждался, кроме прочего, в обычных солдатах с лопатами.

Заводская “газель” привезла нас из карантина в часть. В дороге Бэла записал в блокнот наши домашние адреса, телефонные номера родителей, уточнил, кто что умеет, и более не проронил ни слова, только вздрагивал головой в такт ухабам.

Когда он отлучился за стаканчиком кофе в придорожный ларёк, ушлый водила с лычками ефрейтора предупредил:

– Вас определяют в четвёртый взвод. Там разнорабочие. Пятеро по-любому пойдут в бригаду землекопов, но вы, хлопцы, проситесь в цех. Как по мне, лучше оглохнуть в механическом. У землекопов зимой ад, уж поверьте!..

И мы, конечно же, поверили ему – всем сердцем. Нас было четырнадцать человек.

Завод выглядел словно небольшой промышленный городок, только заключённый под стражу – его улицы с цехами, ангарами, боксами, бараками и прочими зданиями окружал бетонный забор в зарослях колючей проволоки.

Мы заехали не с центрального КПП, а через ворота грузовой проходной. Рабочий день закончился, гражданские покинули территорию завода. Было тихо, безлюдно и сумрачно, только желтели сутулые, тусклые фонари. Ближний цех походил на огромный закоптелый парник.

По приезде Бэла перепоручил всю “газель” старшине по фамилии Закожур, после чего отбыл в управление. Едва Бэла скрылся, Закожур, шкодливо оглянувшись по сторонам, заявил:

– А теперь бегом до казармы марш! – кивком указал в сторону небольшой двухэтажной постройки, находившейся метрах в двухстах от проходной. – Последние пятеро – в землекопы!..

Побежали! Я тоже было рванул, но зацепился о ногу Игоря Цыбина, и мы оба под хохот Закожура растянулись на асфальте. Костя Дронов даже не успел выйти из “газели”. В спину его яростно толкал, клопоча туловищем, Саша Антохин – он-то как раз был самым бойким в нашей партии, а вот взял и оказался запертым неповоротливой дроновской спиной. Топтался на месте румяный увальень Максим Давидко. А девять быстрых уже неслись галопом к казарме – победители...

Потом я узнал, что это была старая ротная традиция – перегонки. Бэла поэтому и ушёл, чтоб не мешать жеребьёвке.

У сутулого Цыбина от безысходности глаза сделались стеклянными. Шипел Антохин:

– С-сука! Из-за тебя! – и старался наступить Дронову на задник сапога, а тот огрызался бессильным “пошёлнахуем”. С рассеянной улыбкой плёлся разиня Давидко. Он даже не понял, что попал в землекопы.

В каптёрке мы сдали Закожуру свои вещи и мобильники. Появился командир четвёртого взвода, сверхсрочник старшина Журбин. Пришёл не один.

– А эти, – Закожур кивнул в сторону нашей пятёрки, – копать хотят!

Журбин обвёл наше понурое стадце цепким взглядом, словно накинул оптический аркан, затем резко кивнул в сторону стоящего рядом с ним увальня, словно передал ему закабалившую нас верёвку:

– Тебе, Лёха, пополнение...

Мы посмотрели на будущее начальство. А сержант Купреинов с ласковой рачительностью изучал нас, подперев указательным пальцем пухлую белую щёку – сценический жест народной плясуньи, разве платочка не доставало.

Природа готовила Купреинова в толстяки, но тяжёлый физический труд на время подменил студень наливным мясом. При взгляде на его рыхлое, бабье лицо первое, что приходило в голову, – “Салтычиха”.

Я рад, что зацепился тогда за дроновский сапог. Служба моя в итоге оказалась тихой и беспечной. Я от души признателен Купреинову за житейскую школу. Те полгода, что я служил под его началом, определённо оказались полезным временем. Но это до меня дошло позже. А в тот первый вечер мы оплакивали свою незавидную долю.

Журбин наскоро посвятил нас в суть заводской иерархии. Командир части полковник Жарков был одновременно и директором завода, подполковник Малашенко – главным инже-

нером, подполковник Зябкин – начальником техотдела, а майор Козлов – начальником планово-диспетчерского отдела. Замы у них были гражданские. Наша строительная рота состояла из четырёх взводов, примерно по тридцать человек в каждом. Остальные работники завода были вольнонаёмными – общим числом до тысячи человек.

Отделение четвёртого взвода называлось бригадой землекопов. Купреинов был командиром и, соответственно, бригадиром. На этом Журбин закончил инструктаж, сказал, что до ужина полтора часа и у нас есть время, чтоб устроиться и осмотреться.

И тут последовал второй удар – оказалось, что проживать мы будем не со всей ротой. Именно у землекопов из четвёртого взвода, как у каких-то изгоев, было отдельное помещение, которое находилось на отшибе, неподалёку от грузовой проходной. Просто взвод был самым многочисленным именно за счёт землекопов и для них вроде как не оставалось места в спальных блоках, рассчитанных на шестнадцать пар кроватей.

Тогда мы хором подумали, что теперь нам точно конец и ничто теперь не помешает вневременным бесчинствам. Даже наши недавние товарищи по карантину, девять прытких счастливыхчиков, уже сторонились нас, как зачумлённых.

В последнюю минуту нашего копательного отряда убыло. Антохин не выдержал, взмолился сразу к Журбину и Купреинову:

– Товарищи старшие... Разрешите обратиться? Я в цех лучше! Можно мне тут остаться?.. – Булькнул обречённо: – Я на гитаре умею... – набивал перед Журбиным себе цену.

Подал голос Купреинов. Вкрадчиво и хищно:

– Можно Машку за ляжку и козу на возу... – затем чуть подумал и добавил: – Хотя, если честно, нельзя даже козу. Вообще ничего нельзя!

– Чё ты там умеешь?.. – начал, закипая, Журбин.

Но тут снова заговорил Купреинов:

– Правда хочешь остаться? – пристальные его зрачки сжались до чёрных точек. – Вить, – сказал Журбину, – мне, в принципе, и четверых в бригаду хватит. Воин думает, что ему будет проще у тебя, – перемигнулся с Журбиным. – А мне балалайкин не нужен.

И старшина сказал Антохину:

– Пиздуй наверх к остальным...

Тогда мы завидовали. Думали, спасся-таки проныра. Как же весело грохотали антохинские подошвы, когда он бежал по ступеням на второй этаж. А нам казалось, что мир ополчился против нашей четвёрки, сержант с внешностью лютой помещицы уводил нас из чистой и тёплой казармы в свой медвежий угол...

Забегая вперёд, скажу о судьбе Антохина. Ближе к новому году, как-то под вечер Купреинов отправил меня к Журбину с ежемесячным калымом – без надобности мы не появлялись в общей казарме. Тогда я и увидел преуспевшего Антохина. Он выступал перед дедами – артист. Держал в руках сапог, который символизировал нечто струнное. Судя по междометиям, которыми Антохин имитировал звук: “блмб-блмб, блмб-блмб”, – сапог служил визуальной балалайкой.

Это был целый спектакль. Хор из девяти духов-бегунов спел под антохинскую “блмбу”:

– Рыжий, рыжий, конопатый убил дедушку лопатой!..

Развесёлый дед в будто бы праведном гневе немедля отвесил “балалаечнику” крепкий фофан, а тот, оправдываясь, напевно возразил:

– А я дедушку любил! А я деда срать возил!..

– Поехали-и-и! – дед со смехом обрушился на плечи Антохина. – Н-но-о! Покатил, ёбанный!..

Антохин выронил сапог, прытко побежал к двери и напрямик к сортиру с дедом на закорках. Не уверен, заметил ли Антохин меня, узнал ли вообще. Взгляд у него был мученический, конский...

У нас же, проигравших и невезучих, всё сложилось по-иному.

Казарма, куда мы пришли, оказалась обычной бытовкой, подтверждающей лишь известную поговорку о постоянстве всего временного. Как ни странно, облезлая снаружи, бытовка эта внутри была одомашненной и очень гражданской. В предбаннике на стенах висели фривольные календари с пышногрудыми кинокрасотками. В завёрнутом поросычьим хвостом закутке находились умывальники и душевая. Отдельной пристройкой была уборная на четыре посадочных места. Там возле стены стоял древний электрообогреватель с закоптелыми спиралями. Купреинов, войдя, ткнул вилкой обогревателя в розетку, и спирали за несколько секунд налились оранжевым жаром.

В спальном помещении было десять кроватей, самых обычных, не двухэтажных. Купреинов, не торопясь, прошёл к своей. Чинно скинул сапоги. Потом лёг, закинув ноги на спинку кровати, а руки положил под голову. Мы стояли рядом – Костя Дронов, Игорь Цыбин, Максим Давидко и я.

Купреинов прикрыл глаза и молчал полминуты, только под потолком звенела, как пленённая муха, неоновая лампа. Когда тишина из зловещей уже грозила превратиться в комичную, Купреинов заговорил. Обращался он на “ты” и ко всем сразу:

– Воин-строитель! Всё, что ты слышал о стройбате и дедовщине, это... – душераздирающая пауза... – Правда!..

Мы вздрогнули.

– Сейчас ты думаешь, что всё пропало, впереди лишь бесправие, унижения и каторга. Долгие невыносимые два года тяжкого рабского труда. Подорванное здоровье. Страх и боль...

Под дребезжание неона снова повисла тишина.

– И, наверное, как невозможное чудо, прозвучали бы для тебя слова: “Всё может быть и по-другому! Служба в строительных войсках бывает нормальной!”

Мы затаили дыхание. Купреинов оторвал голову от подушки и как бы заглянул каждому в душу:

– Ты, конечно, хочешь спросить: “Что нужно для этого сделать?” Я отвечу: “Хорошо и честно работать”. Как в песне: “За себя и за того парня”. Бригадирю не нужны дембельские сказки на ночь, чистка сапог, уборка кровати. Не рабы, но труженики любезны бригадирю!.. Воин-строитель, завтра начнётся твоя нелёгкая служба. И какой она будет, зависит только от тебя!..

* * *

Конечно, это была отрепетированная заготовка. Через полгода новый бригадир, бывший черпак Лукьянченко, воспроизвёл этот пробирающий до костей монолог почти слово в слово перед вновь прибывшими духами. А спустя ещё полгода он же передал мне затёртый до бахромы на сгибах листок, на котором было написано аккуратным почерком: “Воин-строитель. Всё, что ты слышал о стройбате, – правда!”

Но ведь никто не отменял актёрского мастерства. Монолог в исполнении Купреинова произвёл неизгладимое впечатление.

Потом Купреинов взялся придумывать нам клички.

– Фамилия?

– Дронов.

– Будешь Дрон... Фамилия?

– Цыбин.

– Цыба! Фамилия?! Эй, не тормози!

– Давидко!

– Э-э... – на миг задумался. – Дава?.. Не, Удав!.. Фамилия?

– Кротышев...

Я уже приготовился называться Кротом, но спустя пару секунд прозвучал неожиданный вопрос:

– А по имени как?

Я растерялся, пробормотал:

– Володя...

– Вот и называйся Володей, – ласково заключил Купреинов. – Будешь у этих, – указал на Цыбина, Дронова и Давидко, – за старшего. Постарайся самоотверженным трудом оправдать моё доверие, Володя. Очень на тебя рассчитываю! Не разочаруй меня...

Тогда же мы узнали, что в нашей бригаде кроме нас ещё пятеро землекопов – три работающих черпака и два иждивенца деда – сопризывники Купреинова. В данный момент они отсутствовали – ночевали на удалённом объекте. Купреинов специально приехал в часть, чтобы лично принять в бригаду пополнение. Кстати, эти выезды и были одной из тайных выгод нашей службы. Землекопы изредка ночевали в заводских или строительных общагах, где бывали и женщины, и алкоголь. Не обязательно, что они доставались, но они существовали в принципе – как мечта и возможность.

Общая беда (а нам тогда казалось, что именно беда) сдружила нашу четвёрку. Максим Давидко являл собой исчезающий народный типаж-наив. Такие, наверное, перевелись даже в глухих деревнях. Когда я смотрел на румяные щёки Давидко, цыплячий пух бровей, крепкие розовые уши, на детскую его улыбку, обращённую всему миру сразу, то понимал, что голосащая простота этого паренька из-под Волгограда много лучше всякого тихого воровства. И чего греха таить, первые месяцы он, двуличный и безропотный, тянул за нас, городских доходаг, всю работу, ни разу не попрекнул, слова поперёк не сказал...

Игорь Цыбин, узкоплечий, сутулый, почему-то всегда напоминал мне попавшего в беду скрипача, которого злые люди поймали, крепко били, а после ещё обрили налысо. Он, как и Костя Дронов, призывался из Липецка.

Ладный чернобровый Дронов внешне был бы очень хорош, если б не яростно косящий глаз. Костя поэтому, чтоб скрыть дефект, всегда глядел с нагловатым прищуром, добавлявшим его красивому лицу лихости.

Вот такими вас помню – Максим, Игорёк, Костя. Меньше всего я хотел бы видеть ваши фотоовалы с аляповатой, цветастой ретушью...

На следующее утро Купреинов повёз бригаду на объект. Рабочий день военного строителя начинался в девять утра и, по идее, должен был продолжаться до шести вечера. Но получалось так далеко не всегда, ведь мы работали за себя и “за того парня”, который однажды вечером пообещал нам человеческую жизнь в обмен на труд. Говоря проще, мы обязались пахать ещё за троих дедов и быть на подхвате у черпаков.

Практиковались, конечно, свои строительные хитрости и послабления. Наряды, к примеру, рассчитывались из кубометров и категории грунта, поэтому никто не мешал Купреинову договориться с местным прорабом, чтоб грунт второй категории считался грунтом третьей. Норма выработки, соответственно, уменьшалась с трёх кубов до двух. А с учётом интересов “и того парня” на смену приходилось четыре куба. Они, конечно, давались поначалу непросто.

Помню первый рабочий день. Стоял отсыревший, сумрачный ноябрь. Нас подрядили выровнять стены прокопанной ранее экскаватором траншеи и заодно углубить её на полметра. На дне траншеи было промозгло, как в погребе. Спустя три сизифовых часа, когда в очередной

раз брошенная на бруствер земля липкими комьями скатилась вниз по скользким глиняным бокам траншеи и силы в бессчётный раз покинули меня, в унылом, похожем на болото небе появилось ясное лицо Купреинова. Заглянул как луна в колодец и произнёс в манере шаолиньского гуру:

– Я мог бы тебе сказать, что ты копаешь неправильно, что движения твои избыточны и нерациональны. Что нужно работать спиной или, наоборот, не работать ею, с наступом или же только одними руками. Но это просто слова. У копания нет какой-то техники или школы. Есть лишь привычка и навык. Однажды твоё тело само поймёт, как не утомляться, чтобы в срок выполнять возложенную работу!..

Мне казалось, что бригадир изошрённо издевается.

– Моё сердце разрывается от жалости к тебе, – чутким голосом говорил Купреинов, стоя у кромки котлована. Земля шуршащими змейками сыпалась по стенкам. – Но я не могу спуститься и сделать твою работу за тебя. Это было бы нашей общей ошибкой!..

Купреинов не глумился надо мной. Он действительно так думал.

Полгода службы прошли в мутной пелене. Поутру я приходил ещё зрячим на объект, потом начинался труд, и белые пары моего раскалённого дыхания оседали инеем на стёклах очков. Я работал в заиндевелых шорах. Купреинов называл мои слепые очки “зимней сказкой” – на редкость поэтичное сравнение:

– Хорошо Володьке! Смотрит эту зимнюю сказку...

Однажды он чуть ли не час простоял надо мной, повторяя с непередаваемой бутафорской серьёзностью:

– Иногда кажется: всё, край! Больше не могу!.. А ты взял – и смог!

Я, конечно, понимал, что это игра, но бытовой артистизм Купреинова всегда был подчинён выполнению поставленной задачи.

– Неужели подведёшь? Мне ж весной на дембель. На кого я бригаду оставляю? – так он прочил меня в будущие командиры.

И я поднатужился. Как говорится – “взял и смог”. Невзирая на стёртые до крови под рукавицами ладони, на обморочную черноту в глазах, вязкую боль поясницы...

Удивительно, но Купреинов, этот двадцатилетний паренёк из Воронежа, действительно обладал и юмором, и меткой житейской мудростью. Я справлял малую нужду в гулком, как пещера, общажном сортире, а Купреинов из-за двери что-то спросил. Я крикнул ему в ответ:

– Не слышу, Лёш!.. – вышел.

И Купреинов сказал:

– Вот так и в жизни. Когда ссышь – не слышишь голоса истины!..

А в остальном он ничем не отличался от обычного армейского деда. Любил рифмованные солдатские присказки, слепленные по цветаевским канонам, – о юности и смерти: “Лежит на дороге солдат из стройбата. Не пулей убит, заебала лопата” или “Смерть и дембель чем-то схожи, смерть придёт, и дембель тоже”.

Командир он был толковый, бригаду свою берёт. Когда в феврале лютовали морозы, он, невзирая на неудовольствие прораба, объявил так называемые активированные дни, и тогда мы просто отсыпались, не забывая, кому обязаны этой передышкой.

Когда после рабочей смены мы возвращались на родной завод, каждому из нас, даже бесхитроственному Давидко, хватало ума на посторонний праздный вопрос:

– А каково в землекопах? – отвечать с хмурой, полной отчаяния и многоточий обречённостью: – Ад...

У меня до сих пор в ушах то ли тихий крик, то ли шумный вздох надсмотрщика-прапора: – Ты чё натворил? Это ж яма! Бля-а-а!.. Ты ж яму сделал!

Я вспоминаю иногда ту первую могилу. Зимнюю. Сколько же я копал её? Часов шестнадцать. А ведь мне казалось, что я освоил лопату. Кровавые волдыри на ладонях от каждодневного труда давно уже ороговели до янтарных мозолей. Спину почти не ломило от ежедневной скрюченной работы, окрепли суставы и сухожилия.

Умерла тётка директора завода полковника Жаркова. Ветхая эта родственница приказала долго жить в Белгороде, но перед смертью просила, чтоб похоронили её рядом с родителями – в посёлке под Курском.

Прапор, ответственный за похороны, пока вёз меня к кладбищу, всё шутил в своём “уазике”:

– У незнакомого посёлка, на безымянной высоте. Н-да... Просуществовала бы старушка до весны... Но умерла в холода – что тут поделаешь?

В том посёлке обычно всегда хоронили односельчане – сами себя, по мере умирания. Но местные мужики к тому моменту одряхлели, и никто не брался долбить могилу в мёрзлом грунте.

Командир роты капитан Бэла вызвал Купреинова, тот предложил мои копательные услуги. Сказал с гордостью:

– Рядовой Кротышев выроет! Он отлично работает...

И я не сомневался, что справлюсь, не подведу. Могила ведь не сложнее кабельной траншеи. И не важно, что наши траншеи преимущественно рыл экскаватор, а мы только стенки ровняли. Всего-то четыре куба земли, до вечера по-любому управлюсь – так я думал...

Я начал работу в полдень. Кроме штыковой у меня с собой были совковая лопата, лом, кирка и топор – на случай, если вдруг попадутся корни. Были две легковые покрышки, которые я предусмотрительно захватил у нас в ремонтном цехе. А ещё две покрышки подарил местный мужик из посёлка – к нему я бегал греться, когда силы покидали меня. Дом благодетеля как раз стоял на окраине, в десяти минутах ходьбы от кладбища.

Для начала лопатой я выстучал периметр будущей могилы. Проверенной, надёжной лопатой, которую сам же накануне отбивал и доводил брусом. Глянул – а кромка на острие завернулась, будто подвела. После крещенских морозов земля промёрзла до костей и превратилась в гранитный монолит.

Трещал февраль, но я ощущал лишь бред и жар распаренного туловища да коптящую отраву расплавленной покрышки. И ещё я думал: что будет, если завтра поутру люди привезут гроб, а могила окажется не готова?

Вычерпав куб оттаявшей грязи вперемешку с липкой резиновой слякотью, я устроил передышку. Плеснул бензину на вторую покрышку, поджёл. А после заспешил, шаркая, в посёлок. Со стороны я, наверное, напоминал согнутый гвоздь, с рукой на натруженной поясице.

Густели лиловые сумерки. Ветер гнал по заиндевелою горбатой дороге крупяную позёмку, чёрные деревья в сугробах были похожи на собственные вставшие на дыбы тени. Где-то далеко лаяли гулкие цепные псы и стучала невидимая колотушка. Я ориентировался на её деревянный шум, но оказалось, что это колотится о стену ставня брошенного дома, хлопает на ветру, производя этот монотонный стучающий звук. А вот следующий дом был жилой – издали он походил на старинный фонарь. Образ портила только спутниковая тарелка под крышей.

Мужик, хозяин дома, уже знал, что я копаю могилу. На вид ему было за пятьдесят, хотя, может, он был и моложе. Худой, седой, с простецкими татуировками на руках. Его дряхлая мамаша угощала меня магазинной едой, напрочь лишённой деревенского колорита. Чай был

из пакетика, котлета – обжаренный полуфабрикат. Я грелся, краем уха слушая телевизионные новости и народную кладбищенскую науку:

– Господи, оборони, спаси и сохрани от могильной земли, аминь! Вот так нужно говорить! Понял?

Старуха смешно произносила это “понял” – с каким-то мяукающим акцентом: “Поня-у?”

– Ты ж своей работой мёртвых будишь! Прощения надо попросить, мол, так и так, извините за беспокойство!

Я благодарно кивал:

– Приду и прочту. И прощения попрошу.

– Заранее надо было! Поэтому и не идёт могилка! А ты чё смеёшься? – с досадой спрашивала сына – тот лишь стеснительно улыбался. – Я дело говорю!.. Лопату нельзя передавать из рук в руки, слышь?! Только в землю у-увтыкать!.. Поняу?!

– Да я один работаю! Мне её и передавать некому!..

Мужик совестился:

– Я б тебе помог, но жилы нет... – так он образно называл силу – “жилой” и вытягивал вперёд дрожащие, словно от внутреннего озноба, руки: – Видишь? Нет жилы!..

Как же неудобно, как тяжело было возвращаться вечером на кладбище – особенно после предупреждений о потревоженных покойниках. И сельские псы стонали на луну, как фольклорная нечисть.

К полуночи покрывки прогорели. Я прилежно собирал кладбищенский хворост и жёг его. Поутру своей обугленной чернотой яма в земле напоминала не могилу, а воронку. От усталости и ужаса ответственности я позабыл с какого-то момента, что надо рыть прямоугольник.

Как превратить обгорелую, пахнущую бензином и жжённой резиной геенну в могилу, подсказал водила “уазика”. За час до приезда процессии там же, на кладбище, я по его совету нарубил елового лапника и ветками задрапировал стенки могилы.

Глубины я, конечно, недобрал. Но схитрил, выложив по краям высокий бруствер, так что никто халтуры не заметил, а сам бруствер укрепил досками, которые, к счастью, не обнаружил ночью, а то б и они пошли на костёр. Эти доски придали могиле чёткие геометрические линии.

В итоге получилось даже красиво. Прапор, до того проклинавший меня, аж прекрестился на результат:

– По-кремлёвски, блять!..

Ещё час оттирал соседний памятник от налетевшей сажи. Вспомнив старческий совет, просил прощения за беспокойство у потревоженной могильной жилицы. Людмила Афанасьевна Мущина. Фамилию я сначала прочёл как “мужчина”. Удивился ещё: надо же – Людмила Мужчина. А она была Мущина. И посёлок тот назывался Мущино!..

Приехал автобус. Я помог вынести неожиданно большой гроб, затем отошёл в сторонку. Пока шла церемония прощания, старался не смотреть на покойницу. Не потому, что чего-то боялся. Просто избегал, что ли, знакомства. Это, в общем-то, оказалось нетрудным, нужно было всего лишь настроить сознание, так что даже направленный в гроб взгляд не достигал цели, а расплывался по дороге в дымчатый расфокус.

Подумалось, что с моей стороны это неуважение к человеку, для которого я так долго готовил последнее пристанище. И я заставил себя разглядеть полковничью тётку.

Внешности уже не было, просто маска бесполого старика, которая не выражала ни покоя, ни вечного сна, а только тотальное отсутствие. Мне предстало не мёртвое безгубое лицо, а гримаса с тайным смыслом: “Ушла и не вернусь”.

И на это сливочного цвета холодное Ничто медленно опускались и не таяли снежинки.

В начале мая Купреинов ушёл на дембель. Мне было грустно с ним расставаться. Я по-своему привязался к ушедшему бригадиру. Купреинов почему-то всегда выделял меня среди прочих. Именно благодаря ему жизнь моя в армии оказалась самой что ни на есть тихой гаванью, где нет штормов и полно работы. Даже ледяная могила, за которую я почём зря сволочил Купреинова, сыграла свою положительную роль. Полковник Жарков оценил мой каторжный труд. Помню, как охали сельские бабки, как цокали языками валкие седые мужики – они-то понимали, чего стоит вырубить могилу в такие холода. Жарков, расчувствовавшийся от самого факта похорон и дюжины стопок, хотел мне даже чего-то там заплатить, но я ответил, что денег с командира не возьму.

Через пару недель меня произвели в ефрейторы. Купреинов, конечно, поднял мне настроение поговорками: “Лучше дочь проститутка, чем сын ефрейтор” и “Ефрейтор – это переёбанный солдат”. Но когда прежний бригадир Лукьянченко перевёлся дослуживать свои последние месяцы в тарный цех, главным у землекопов стал я, и меня благополучно произвели в сержанты. Это произошло уже в октябре, когда мы стали годовалыми черпаками...

Провожал Купреинова в дорогу только я. Он сам больше никого не пожелал видеть. Для прощания мы разжились бутылкой кизлярского коньяку, который выдули на пару в нашей каптёрке.

Купреинов на прощание спросил:

– А хочешь знать, почему я не назвал тебя Кротом? В память о школе. Я когда малым был, в первом ещё классе... – он замолчал, словно раздумывал, стою ли я его откровения. Потом решил: – Ладно, похуй, всё равно уезжаю... Я однажды прочёл свою фамилию наоборот!

Я уже захмелел и не справился с задачей в уме:

– Надо на бумаге записать.

– Получилось – Воньерпук... – тихо сказал Купреинов. – И такой меня хоррор прошиб, что дразнить будут Воньерпуком! Хотя фамилию меняй!.. – Он осклабился, как бы приглашая разделить иронию: – Поверишь? За десять лет ни разу тетрадь не положил лицевой стороной – чтоб фамилия на виду не была. Вот... А никто так и не догадался прочесть наоборот... А тебя увидел и подумал: “Все его дразнили Кротом. А я не буду”. Понимаешь?..

Осенью в бригаду пришло пополнение – полдюжины духов. Я наскоро заучил “монолог бригадира” и, уже подготовленный, встретил ребят у каптёрки старшины Закожура. Эти новенькие очень напоминали нас прежних – перепуганные рожи. Они только что, как мы год назад, облажались в тараканьих бегах наперегонки к казарме.

Я пытался сохранять серьёзность и торжественность, что бы-ло непросто – Цыбин, Дронов и Давидко корчили зловещие гримасы, и выглядело это смешно. Но традицию следовало уважить.

По купреиновскому примеру я, улёгшись на кровать, пересказал наш строительный катехизис про самоотверженный труд. Для наглядности взял две стальных ложки и заплёл их в косичку – что-то вроде демонстрации силы. Мы порядочно окрепли от нашей каждодневной работы и не упускали случая щегольнуть силовыми возможностями – согнуть гвоздь, разломить руками банку консервов.

В отличие от прежнего бригадира сам я работал до последнего дня. Товарищи мои частенько бывали недовольны таким “ударничеством”, но мне попросту было скучно сидеть в бытовке, тупо пялиться в телевизор или же играть в какую-нибудь игру в мобильном теле-

фоне – на втором году службы нам негласно их вернули в пользование, хоть формально это не разрешалось.

Цыбин и Дронов справедливо полагали, что вкалывать должны только духи, а нарушение устоев чревато анархией, бунтом и развалом. Вспоминаю случай. Бригада наша работала на нулевом цикле, прокладывали траншею к фундаменту будущего цеха. И была там ещё дополнительная морока – выдержать правильный уклон для водопроводных труб. Стоял дождливый ноябрь, ребята быстро скисли. Из молодых особенно жалко мне было рядового Мокина – он выглядел самым тщедушным.

Цыбин и Дронов увлеклись просмотром ужастика про какую-то американскую нежить, а я пошёл к траншее, рассчитывая хотя бы подбодрить Мокина словами “взял и смог”. Чёртов доходяга ни на пядь не продвинулся за последний час, просто сидел скрючившись. Когда увидел меня, показал стёртые до крови, воспалённые ладони. Он выглядел таким жалким – мокрый, перепачканный, точно вылез из затопленной норы. Длинный хрящеватый нос зелено плесневел от постоянной простуды.

Лёша Купреинов цинично сказал бы ему: “Моё сердце разрывается от жалости к тебе...” Я же спрыгнул в траншею и взялся за лопату. Но только я поймал неспешную медитативную монотонность труда, как над нашими головами зазвучали голоса Цыбина и Дронова.

– Володя, не делай этого, пожалуйста... – с какими-то причитающими нотками произнёс Дронов.

Я сконфуженно посмотрел наверх, а Цыбин добавил с патетическим надрывом:

– Мока, ты хоть понял, чё происходит?! Бригадир тебе могилу роет!

– Володь, ну не надо... – опять скульнул Дронов. – Он исправится... Мока! – зашипел. – Хватай, мудила, лопату! Он не шутит! Прямо тут и закопает! И никто не найдёт!.. Володь, не надо, ты прости его!..

До того сизый от холода Мокин просто растерянно хлюпал насморком, но после услышанного резво вздёрнулся, натянул рукавицы, выхватил у меня из рук лопату и, подвывая: “Я сам! Сам!...” – вклинился в глину. Про стёртые ладони и думать забыл. Как говорится, “взял и смог”.

Обратной дорогой к бытовке изверги довольные улыбались. Они специально не прихватили с собой простодушного Давидко, опасаясь, что тот не подыграет как надо. Признались, что для профилактики давно уже запугивали мной молодых, называя Кротычем. Вспоминали, разумеется, мой похоронный опыт, помножив его для солидности на десять.

– Да ты посмотри на себя! – ехидно сказал Цыбин. – Ты ж реально на маньяка похож! Крот-убийца!..

* * *

Конечно же, всегда задумывался, каким меня видят окружающие. В школе переживал из-за узкого, как мне казалось, лба. Или сдержанно радовался, что от матери унаследовал небольшие аккуратные уши. Но больше меня огорчало даже не само лицо, оно-то было нормальным, а его выражение – доброе и беспомощное. Я с седьмого класса, только меня перевезли в Москву, репетировал свирепые маски, гримасы для придания лицу суровости. Позже в Рыбинске инерция этих ухищрений вызвала у одноклассников лишь улыбку, они говорили мне: “Вован, что случилось? Сделай портрет помягче...” А потом я и сам отошёл от московского стресса, успокоился.

В армии я снова стал следить за мимикой. Рож больше не корчил, старался придать лицу нейтральное, в моём представлении, выражение – каменное. Я украдкой изучал себя в щербатом овале зеркала, что висело над умывальником в нашем отхожем закутке, и не понимал, что такого пугающего разглядели Цыбин и остальные в моей внешности. Понятно, наголо стри-

женная голова мало кому добавит привлекательности. На темени ещё красовались два грозных шрама, при том что получены они были самым мирным путём, ещё в детстве, от качелей, но выглядели не хуже рубцов от лопаты...

Сам я на втором году службы отметил одну существенную перемену: в моём взгляде появилась тяжесть. Что-то давящее, словно бы эхо перекопанных кубометров. Очки совершенно не добавляли облику интеллигентности, а, наоборот, множили этот земляной вес.

Но, видимо, перед зеркалом я всё же как-то расслаблялся, отпускал лицо. А вот на групповой фотографии для очередного дембельского альбома я наконец-то разглядел себя в “нейтральном режиме”.

Образно говоря, я преобразался, точно кот Леопольд после упаковки “Осмертина”. Удивительно, как весь мой добродушный набор из лба, бровей, глаз, щёк, скул, рта и подбородка мог складываться в такую неприятную комбинацию. Не суровое, не злое, а именно что мёртвое выражение лица.

Становилось понятно, почему так затравленно глядели на меня из траншеи новопришедшие ленивцы, когда я назидательно произносил над ними одну из любимых присказок Куприна: “Зло правит, добро учит”.

Не могу сказать, что первый год моей службы взял и пролетел. Он был медленным и вязким, как сланцевая глина, но поскольку состоял из будней, разнящихся только погодой, то уже ко второй половине оформился во что-то напоминающее занозистый деревянный брус, который нужно доволочь куда надо, бросить и пойти прочь, не оглядываясь. Случались, конечно, светлые и даже забавные эпизоды, но в общем преобладали однообразный труд, утомление и скука.

Если спросить меня, какой была первая солдатская зима, на ум придут вырытая мной могила в посёлке Мушино да саблезубые сосульки под крышей бытовки, которые Дронов, встав на табурет, сбивал шваброй, и они со звоном осыпались – хрустальные клыки белгородской зимы...

Вот дорогое сердцу летнее воспоминание. Июнь, вечер. Песчаное дно котлована похоже на морской берег. Мы закончили смену и организовали пирушку. Цыбин сбегал в магазинчик неподалёку, купил сосисок, булок, каких-то сырных намазок, растворимых быстросупов в стаканчиках. С Давидко при помощи силикатных кирпичей и наших лопат мы оборудовали походно-стройбатовские лавки-жёрдочки. Дронов развел костёр из деревянных обломков, которые, когда прогорели, сделались похожими на сизые совиные крылья. Я был в тот вечер почти счастлив, хлебая из стаканчика густой, с сухариками, суп, макая сосиску прямо в банку с горчицей.

Пятым лишним был дед по фамилии Слюсаренко – из нашей же бригады землекопов. Я его недолюбливал. Он был рыбнинский. Я когда-то, заранее обрадовавшись, выпалил ему, что тоже из Рыбнинска, – наверное, надеялся на покровительство и дружбу. А Слюсаренко высокомерно заметил, что “земляку пиздянок дать, как дома побывать”. У меня вспотела от волнения спина, пока мы несколько секунд мерились взглядами. Затем Слюсаренко лениво отвёл глаза. После этого мы почти не разговаривали, будто не замечали друг друга.

Слюсаренко, как старослужащий, понятно, не вкалывал вместе с нами, а просто дослуживал. Прорабы на объектах водились понимающие – лишь бы работа была сделана нормально и в срок, поэтому без вопросов ставили ему положенные восемь часов в расчётный листок, а причитающуюся норму мы выполняли сами.

Стянув сапоги, портянки и носки, Слюсаренко, скрючившись, увлечённо цокал крошечными щипчиками над окаменевшими, как речные ракушки, ногтями своих больших раско-

ряченных ступней, но этот солдатский педикюр почему-то не вызывал никакого отвращения и даже не отбивал аппетита.

Мы пели с наших жёрдочек про прекрасное далёко, только переименованное:

– Теперь ебёт глубб-о-ко! Широко и глубоко, туда-а и сюда-а!.. – и небо над песчаным котлованом было таким оглушительно-синим, таким ласковым...

– Уф-фу! – неподалёку отдувался Слюсаренко, шевелил пальцами ног. – В натуре, хлопцы, будто вторые сапоги снял!.. Ништячок! – улыбался песне. – Ебёт глубоко! Цыба, слова потом запишешь?

Слюсаренко всю готовился к дембельскому альбому и жаловал любую зарифмованную матерщину: о носках солдата из стройбата, которые пахнут заебато, законах Ома: “Здесь нас ебут, а девок дома”, собирал афоризмы о бессмысленности и однообразии службы: “Работа для нас праздник, а в праздники мы не работаем”, не забывал, конечно, и желчные присказки о бабьем непостоянстве: “Солдат, помни, ты охраняешь сон того парня, который спит с твоей девушкой...”

Армейский фольклор женоцентричен: “Девушка – не электричка: не догоняй, будет другая”. “Девушка как костёр: палку не кинешь – погаснет”. Сатанинский гаолян “дембельской сказки” с незапамятных времён навевал сны про “дом родной и девку с пышной пиздой” – пусть снятся!

Одноклассницы относились ко мне, в общем-то, неплохо. Была одна, Марина Алёхина, довольно миленькая. С ней перешучивались на уроках, прогулялись пару раз после занятий, но ни в какие отношения это не оформилось. Последний год перед армией я удовлетворялся тем, что нарыскал в интернете коротенькие, на пятнадцать секунд, порноролики, запечатлевающие, как правило, финал соития, с брызгами и воплями. Таких видеоналожниц у меня имелся целый гарем весом не меньше гигабайта.

Школа закончилась, затея с институтом бесславно провалилась, я загремел в стройбат. И по факту не то что любить и ждать, а даже обманывать меня в Рыбинске было некому. Я, конечно, сочинял напропалую, мол, была “пышная” подруга, но поступила как все бабы, нашла себе другого – солдатская доля...

Осенью я получил десятидневный отпуск и отправился домой с твёрдой решимостью оттянуться по-солдатски, ни в чём себе не отказывая. Но уже с самого начала всё пошло не так, как я огненно навоображал себе в поезде.

На сутки задержался в Москве. Мне действительно обрадовались мать, маленький Прохор и несостоявшийся отчим Тупицын. Он обстоятельно расспрашивал о службе, повторяя, что я “возмужал”.

Мать трогала мои огрубевшие ладони, качала головой:

– Вовка! Как у шофёра! – а я и сам видел, что там уже не кожа, а какой-то дублёный пергамент, об который при желании можно безболезненно тушить окурки.

Погостив у Тупицыных, поехал в Рыбинск. Теплилась надежда, что наша однушка до сих пор пустует – со слов отца последний жилец съехал оттуда пару месяцев назад. Но когда я приехал, выяснилось, что отец сам туда заселился, потому что у него нарисовался какой-то романтический интерес по имени Диана – так с улыбкой сказала бабушка.

Мы очень соскучились друг по другу и проговорили, должно быть, несколько часов кряду. К вечеру приехал отец, и я по второму разу, но уже с купюрами, пересказал ему все нехитрые армейские события. Перед уходом он вытащил из кармана часы “Ракета” и сказал, что на время отпуска моим временем снова буду заниматься я.

В тот же день я позвонил Толику Якушеву. С простецкой радостью потормошил его: мол, когда ж по бабам, когда по студенткам? Уж познакомь со своими одногруппницами школьного друга, ныне сержанта Кротышева!

Толик похохатывал, но говорил исключительно о грядущей сессии, зачётах, экзаменах. То есть совершенно не собирался отвлекаться на мой досуг. Под конец, правда, пообещал, что на выходные что-нибудь придумает.

На выходные! Через пять дней! Он будто не понимал, что у меня всего неделя времени, а потом обратно в часть, к студёным котлованам и промозглым траншеям!

Дела, конечно, нашлись. Я помог бабушке прибраться в доме, починил обвалившиеся антресоли. Мы съездили на кладбище – как раз была пятая годовщина смерти дедушки. Я привел могилу в порядок, убрал пожухлую траву и листья.

Пару дней я просто отсыпался, смотрел телевизор, ну, и, конечно, не забывал посещать свой порногарем. И, наконец, наступила долгожданная суббота. Я почему-то думал, что вечеринка будет у Толика дома – мы раньше всегда у него собирались. Рассчитывал, что заглянет в гости брат Толика – Семён, и я подмигну ему:

– Помнишь, Сем, ты говорил: “Кто служил в стройбате, тот смеётся в драке!”, – и он, конечно же, вспомнит. И я тогда скажу с улыбкой: – Это правда! – и приглашённые девушки посмотрят на меня, как на ветерана.

В итоге всё свелось к походу в ночной клуб “Флай” – запланированная вечеринка в честь дня рождения какого-то Гошана, куда Толик как бы из вежливости позвал и меня.

Новые приятели Толика пришли со своими подругами. Когда я тихо высказал ему:

– Толь, ты ж обещал, – он ответил: – Да оглянись! Полный зал тёлок, знакомься с любой!..

Под раскатистое техно в клубе отплясывало, может, с полсотни девиц, но в таком шуме даже поговорить было сложно, всё мелькало, искрило – как тут познакомиться?

Я, к своему стыду, понял, что неподходяще одет. А ещё этот Гошан с улыбочкой оглядел меня:

– Прикольно выглядишь, скинхедненько!

Действительно, я, остриженный под ноль, пришёл, как очень бедный родственник, в новеньких, дико неудобных берцах – специально перед отъездом купил в нашем военторге, польстившись на их бравый вид. А Гошан носил модную белую курточку, которая прям фосфоресцировала в темноте зала, джинсы и избыточно красивые туфли. Он не был особо симпатичным, просто трескучим и бойким, как тамада.

Я вдруг подумал, что Толик не то чтобы стесняется меня, но совсем не показывает, что я его самый близкий друг. За год, что мы не виделись, он здорово изменился. Я бы сказал, что в своём институте он крепко пообтесался, да вот только не в тех местах, где нужно. Пристрастился к ужимкам, причёску странную сделал – стекающую волосами вниз, будто ему на голову вылили стакан липкой воды.

Он, как и все остальные за нашим столом, чуть ли не в рот смотрел этому развесёлому Гошану. И, нужно признать, тот умел быть интересным.

– Короче! – покрикивал он, чтоб преодолеть громохочущее техно. – Встречался с одной девой! А у неё попугайчик жил! Пенкиным звали! Педик волнистый! Летал мало, ходил везде, сука, пешком!..

Толик и остальные изготавились расхохотаться.

– И вот как-то мы с девой этой основательно разругались! Я психанул, вышел из комнаты и дверью ещё от души ебанул! По звуку слышу – удар мягкий, будто носок застрял! Оглянулся! Бля! Это не носок, а Пенкин, дурак, увязался за мной! Я его дверью и зашиб! Казнил! Тут мы с девой моей и разъехались!..

Они ржали – парни, девушки и та, рыженькая, которой я покупал мохито...

За столом крутились чуждые для меня студенческие темы. У Купреинова была шутка – типа, совет на все случаи жизни: если не знаешь, как втиснуться в разговор, скажи: “Это что, вот у нас в полку один прапор в халву насрал!” – но я так и не решился блеснуть казарменным остроумием.

Вскоре я понял, что деньги заканчиваются, а рыженькая канючит четвёртый стакан и при этом не позволяет даже обнять себя. Я так и просидел три часа с рукой на спинке её стула.

Ушёл домой, а когда на следующий день позвонил Толику, так он ещё выговорил, что Гошан пожаловался на меня, мол, я, когда прощался, нарочно сильно сдавил ему кисть. Я вспыл и сказал, что не виноват в том, что у этого Гошана пальцы как разваренные макароны. Поругались...

В последний день я забежал к отцу отдать часы. Заскочил по нужде в туалет. Под стенкой лежала книжка, которую во время отхожего досуга полистывал отец. Она называлась “В поисках утраченного времени”. Я почему-то прочёл – “потраченного” и вздрогнул от горького совпадения. Открыл наобум. Отец заложил страничку пластиковой упаковкой из-под геморроидальной свечи. Этот неразборчивый, но обидный символизм добил окончательно.

Вечером, лёжа на плацкартной полке, я с горечью думал, что жизнь моя – настоящая жопа, и мало того что у меня нет девушки, так ещё и не осталось парня – в смысле, друга Толика.

Первой моей женщиной стала Юля, Юлия Сергеевна, сметчица из компании “БелКомСтрой”. Это произошло на втором году службы.

Наша войсковая часть постоянно сотрудничала с различными строительными фирмами. Такие конторы редко содержали постоянный штат рабочей силы, а в зависимости от заказа находили конкретных исполнителей. Поэтому мы много чего делали и для “БелКомСтроя”. Полковник Жарков прятельствовал с их генеральным Евстигнеевым, так что у нас было много и контрактов, и просто денежной халтуры. Как-то, помню, мы ездили разгружать два грузовика кирпича на дачном участке евстигнеевского зама Потапенко. За пару часов получили две тысячи рублей – не такие уж и пустячные деньги за неквалифицированную рутину.

Заканчивался апрель. “БелКомСтрой” в очередной раз выцыганил у города помойный пустырь, и моя бригада готовила его к нулевому циклу, освобождая от строительного хлама. Прораб Коля, молодой, общительный мужик лет тридцати, не мог на нас нарадоваться.

Была пятница, мы отработали нашу последнюю смену и ждали заводскую машину. Но тут Коле позвонили из офиса. После беседы он спросил, можем ли мы разгрузить и занести на второй этаж мешки с цементом – за отдельную плату. “БелКомСтрой” недавно переехал на новое место, и там всю пылил ремонт. Вышла обычная накладка, машины приехали с опозданием, совсем к вечеру, когда местные рабочие закончили смену.

Можно было отказаться, но я подумал, что карманные деньги по-любому не помешают. Молодых я отправил с машиной в часть, а для халтуры взял Цыбина, Дронова и Давидко. Всё-таки мы были друзьями.

Дела у “БелКомСтроя” явно шли в гору, потому что они перебрались из прежнего полуподвала в двухэтажный особнячок. Первый этаж уже был закончен и блистал стерильной белизной евроремонта, а на втором ещё велись отделочные работы.

Мы уложились за полчаса. Когда закончили работу, сердобольные офисные тётки опекали нас как могли: поили чаем, принесли конфет. Потом приехал на своей чёрной “тойоте” зам Потапенко. Он, как ни странно, вспомнил меня, долго благодарил за отзывчивость, а под конец вообще распахнулся душой и пригласил нас на завтра сюда же – отмечать очередной контракт.

Увольнительная была царская – до одиннадцати вечера. Мы побродили по городу, днём перекусили в столовой, а к шести часам поехали в гости к “белкам” – так у нас в части называли партнёров из “БелКомСтроя”. Планировали побыть там часок, перекусить и выпить, а потом ещё успеть в кино.

Вчерашний зал было не узнать – его украсили гирляндами воздушных шаров. Появились ломящиеся от закусок столы. Их расставили вдоль стен, чтоб не загромождать пространство. Рядом с дверью в директорский кабинет повесили большой плоский телевизор. Там без звука мельтешил мультфильм: по острову, похожему на ржаную ковригу, кружили бесноватые мышата, наряженные пиратами. Деревенщина Давидко трогательно назвал их мышенятами – под издевательский смех Цыбина.

Сразу из четырёх колонок умц-умцали ранние девяностые. В центре зала выплясывали бухгалтерия и отдел кадров. Аллегрова как раз допела про Андрея и завела про младшего лейтенанта – прям к нашему появлению.

Вчерашние наши кормилицы так смешно принарядились и накрашились. От танцев у них дрожали причёски и щёки. Симпатичного Дронова, которому очень шла солдатская форма, сразу увлекла танцевать начальница отдела кадров, прям уволокла за руку, припевая:

– Все хотят потанцева-ать с тобо-ой!..

Ловкий Цыбин сам сориентировался – пристроился топтаться возле главной бухгалтерши Ирины. Давидко увильнул от объятий второй бухгалтерши и напрямиком рванул к тарелкам с бутербродами.

Возле стола с выпивкой праздновала контракт мужская половина. Я узнал генерального Евстигнеева. Он бывал у нас в части – такой увесистый коммерс. Красивое его лицо портил второй подбородок. Евстигнеев произносил тост, чокался с Потапенко, Колей-прорабом и геодезистом.

Тут всё было понятно и незамысловато. Отдыхали взрослые люди, веселились как умели: танцевали, пьянели, смеялись. В отличие от ужасающей вечеринки в ночном клубе, мне сразу нашлось место. Я был гостем, юным служивым, которому нужно налить рюмку и сказать что-то приятное.

Евстигнеев прочёл под бабьи аплодисменты:

– Терпи, браток, наступит дембель, не будет лычек и погон! И будем мы в общаге женской бухать, как прежде, самогон!..

Толстяку-геодезисту тоже нашлось что вспомнить:

– Хотим мы так на свете жить, как вождь великий жил. И так же в армии служить, как Ленин в ней служил!..

Посмеялись. А Коля-прораб задумчиво сказал, что если “Ленин” заменить на “Гитлер”, то шутка обретёт иной смысл, ведь Гитлер-то воевал, и неплохо, заслужил два Железных креста.

Мне плеснули в пластиковый стаканчик виски, я выпил с Евстигнеевым, Потапенко, Колей и тучным геодезистом за армию – кузницу настоящих мужиков. А когда к столу поднялись юридический консультант Валера, менеджер по персоналу Юрченко и инженер по проектно-сметной работе Денис Геннадьевич, мы подняли стаканчики за успех и процветание “БелКомСтроя”.

Курьер доставил десяток коробок с пищей. Начальник строительного участка (я его видел пару раз на пустыре) принёс из директорского кабинета два ящика коньяку.

Бухгалтерши Света и Ирина в который раз обновили на столе нарезки колбасы, ветчины и сыра, крабовый салат, маринованные овощи, корейскую морковку. Пластиковые коробки с едой бухгалтерша Света, похожая на хозяйку придорожной корчмы, называла “судочки”. Аппетитно оглашала:

– А вот ещё судочек с оливьешкой!..

Мне нравился такой формат праздника – простой, шумный балаган. Буквально через полчаса под ногами уже похрустывали обронённые одноразовые вилки. Пляшущий, как медведь, Потапенко смахнул рукой двухлитровую фанту, она кружилась на полу, клокоча оранжевой струёй. Разбили графин, и грудастая Алла, секретарша Евстигнеева, побежала в подсобку за веником.

Я взял мягкий ломтик пиццы, подхватил языком длинную сырную нитку... А потом увидел Юлю. Она выглядела как Дюймовочка среди пляшущих насекомых. Хрупкая, светленькая. Мне ужасно понравились и юбка, похожая на перевёрнутый бутон синей гвоздики, и колготки, подчёркивающие худобу и стройность ног, и коротенькая полудетская кофточка. Но особенно взволновали и умилили меня голубые гетры – словно бы две гусеницы заглывали мохнатыми вязаными ртами чёрные высокие туфельки.

Из-за близорукости я не мог хорошо разглядеть Юлиного лица, поэтому шаг за шагом подкрадывался поближе. Ей что-то шепнула, пробегая, Алла, я услышал смех – будто зазвенел треснувший, хрипловатый колокольчик.

Рассмотрел. Хищное, кошачье личико. Она крутила в пальцах пустой стаканчик, и я решил воспользоваться моментом. Выпитый виски прибавил храбрости.

Подошёл и галантно спросил: что ей налить? Она строго глянула на меня:

– Не отвлекай, я думаю!..

Голосок оказался под стать образу: писклявый, мяукающий, как из мультика.

Я стеснительно отступил. Она вскинула на меня свои голубые глаза:

– А чего не спрашиваешь, о чём я думаю?

Покорно поинтересовался:

– О чём?

– О том, какие у меня прикольные ноги! – посмотрела вниз. – Правда, красивые?

Я, глядя на гетры, пробормотал:

– Очень...

Улыбнулась:

– Ну тогда принеси вот на столечко, – показала, – виски, а остальное кола!

Я узнал, что её зовут Юля, хотя вообще-то на работе она Юлия Сергеевна, помощница инженера по проектно-сметной работе. Предположил, что ей лет двадцать пять, но выражение лица у неё было как у предельно распушенной старшеклассницы.

Мне показалось, Юле будет приятно, если я начну расспрашивать её о профессии:

– А сметчица – это как? Что именно вы делаете?

– Я? – подняла удивленные, домиком, бровки. – Нихрена не делаю! Там же мозги нужно иметь, чтоб всё калькулировать. Это у нас Денис Геннадьевич, – кивнула на инженера.

Тот развлекал белкомстроевских тёток – запрокинув лицо, пытался удержать на лбу пластиковый стаканчик, балансировал туловищем, как замороженная кобра.

– Я тут больше функции второго секретаря выполняю, когда Алла зашивается. А Денис Геннадьевич сметы составляет... – Дёрнула плечиком. – Что тут непонятного? Вот, допустим, выиграли мы тендер. И не потому выиграли, что такие классные. Просто наш Евстигнеев – зять зама белгородского главы!.. Хорошо, заключили с нами договор... А один из поставщиков цены поднял – и всё! Надо пересчитывать, удорожание получилось. Хотя в смете предусмотрены всегда и удорожание, и инфляция... Кирпич, к примеру, не могут подвезти в установленные сроки. Тогда срочно ищем другого поставщика, но там всё в два раза дороже. Значит, смету надо переделывать, заново согласовывать с администрацией... Нальёшь?

Я сбежал за новой порцией виски с колой. Украдкой глянул на моих разомлевших от сытости бойцов. Послушал, как Потапенко читает навзрыд:

– Ты глядишь на меня так устало, в глазах твоих холод и грусть... Хочешь, я тебе из устава прочту что-нибудь наизусть?!

Принёс. Юля игриво посмотрела:

– Володя, скажи, а ты всегда такой серьёзный, да? С каменным лицом, без тени улыбки?

– Ну, тень улыбки, безусловно, бывает!

Я был в восторге от своего ответа. Он казался мне очень изящным.

– А вот у меня депра постоянная... – вздохнула.

– Депра?

– Ну, депрессия. Болею своим прошлым! Такое мучительное одиночество, в которое ты никого не можешь впустить...

– Понимаю... – вдумчиво покивал я.

Она вдруг рассмеялась колючими, злыми колокольчиками:

– Понимает он! Какой понятливый! – Сделала долгий глоток. Укоризненно посмотрела: – Володя, ну вот что ты мне по три капли носишь! Налей нормально!..

Я метнулся к столу. Подумал. И поменял пропорцию: напёрсток колы, а остальное – виски.

Вернулся, протянул Юле полный стаканчик.

– Ой, так круто, ты слушаешь, не перебиваешь! – радостно промяукала. – Тебе правда интересна чужая личная жизнь?.. Короча! Малому моему, Стаське, годик исполнился. Припёрся дорогой свёкор, Валерий Александрович, седовласый мудачина. Ну, и свекровь Елизавета Андреевна. За неё не чокаюсь...

В Юлиных глазах вспыхивали бесовские искорки. Она трещала без умолку, погружаясь в пучину самой себя:

– Гости и родственники собрались, все дела. Свёкор склонился над Стаськиной кроватью и проникновенно так произнёс: “Расти, Стасик, взрослей. Мы будем учить тебя, а ты будешь учить нас!” – типа, обращается к Стаське, но позиркивает по сторонам – оценила ли публика, какую глубоко-оую мысль Валерий Александрович завернул! Стаське-то год, ему похуй этот незаурядный ум!.. Бля-а-а, – нежно проблеяла. – В общем, выбесил от души! А потом Елизавета Андреевна выступила. Про то, как Паша меня завоевал... Завоебал!..

Во хмелю моя Дюймовочка раскрывалась как изрядная матерщинница. Я помалкивал, кивал, подносил крепкие порции.

– О! Ваша киска купила бы виски! – попробовала. – Чё-та много плеснул! Напоить хочешь?.. Ладно, рассказываю дальше. Я говорю ему: “Паша! У каждого человека внутри существует предел! Предел чувств! Предел боли! Я год молчала, терпела и делала выводы! А теперь я хочу уйти! Просто, блять, уйти! Без слов и объяснений...” Ага, налей ещё, только сосасолы плесни уж! Неразбавленный вискарь девушке принёс!

– Чего плеснуть? – не понял.

– Сосасолы! – заулыбалась. – Ну, сам прочти на этикетке: “Сосасола”! Ой, иди уже!..

Геодезист громко общался с кем-то по телефону:

– Нормально тут! Приезжай! С голоду пока не пухнем!

– Не пукнем! – подкрался Евстигнеев. – Хотя, может, и пукнем, но не с голоду, а просто пукнем!.. – и по залу громынуло хохотом. Я поспешил обратно.

Юля ждала меня. Язык у неё чуть заплетался:

– “Юленька, ради ребёнка надо сохранить семью. Давай всё наладим, отдохнём в Крыму”. Не хотела, но согласилась. Ладно, поехали в твой ёбаный Симеиз. Он билеты взял. Я спрашиваю: “Паша, ты какие взял, плацкорт или купе?” Он такой: “Плацка-арт”... – передразнила разъявленный лепет дауна. – Паша! Плацкорт – это ноги! Твою мать!.. Ты ж сам мириться хотел! А пожмотил на мне с самого начала! Как можно с этих торчащих отовсюду ног начать всё заново?! Как, блять?! – и выронила стаканчик. – Принеси новый, ладно?..

Позже я часто вспоминал пьяный Юлин экскурс в разруху семейных взаимоотношений. Удивительно, но за какой-то час она сообщила мне все необходимые вещи, которые должен знать вступающий во взрослую жизнь юный мужчина. Я тогда уже пообещал себе, что никогда не возьму своей женщине “плацка-арт”...

Виски закончился. Оставался коньяк. Я чуть разбавил его фантой и понёс Юле.

– Ой, спасибо! – экранчик мобильного лунно освещал её лицо.

– Прикольный, – сказал я, протягивая стаканчик. – С камерой?

– Ага, “нокия” це шестьдесят два тридцать... – и вдруг умильно промяукала: – Мой любимый подари-и-ил!..

Это было как тычок под дых.

– Любимый, значит... – сказал, поперхнувшись словом.

– Ну, мой нынешний мужчина... – она торопливо отправляла смс. – Хорош, благороден, неординарен... Но в возрасте...

– Жаль, что я плох, подл, ординарен и юн... – произнёс я с горечью.

Юля отвлеклась от телефона:

– Да ты, оказывается, умеешь шутить, мальчик с каменным лицом... – и провела ногтями по моей щеке.

От этого неожиданного, нежного прикосновения по моему телу прошла даже не дрожь, а судорога.

– Сними очки, – попросила. – А ты симпатичный, Володя. Просто эти стекляшки тебе совсем не идут.

– Папик, значит, у тебя... – вспомнилось подходящее слово.

– Увы, мой щедрый друг, к сожалению, стар, ему хорошо за сорок... – и хихикнула. – Дирижёр из филармонии. Ну, такой продвинутый дяденька. Вечно юное ретро, джазак нашей молодости...

Экранчик “нокии” заморгал. Пришло ответное сообщение от дирижёра.

Юля прочла и гадко засмеялась:

– Послушай, чё пишет: “Любимая, целую твои ключицы...” Ключицы!.. Романтик, ёпт. Дурачок мой... Жениться, кстати, хочет. А я вообще-то пиздец как люблю, когда на мне жениться хотят. Я вот недавно изменила ему. Причём, не поверишь, с таким говном, что вспомнить тошно. – Она виновато вздохнула, но так сладко зажмурилась, что было видно, что ей совсем не тошно. – Даже не знаю, зачем я тебе всё это рассказываю. Принесёшь ещё?

В зале бухгалтерши Ирина и Света вели под руки Потапенко. Зам осоловело выкрикивал:

– Чтоб всем нам было хорошо!.. И ничего за это не было!..

Я слил в стаканчик остатки коньяка из двух бутылок и чуть плеснул для общего объёма водки.

– Слушать будешь? В общем, я сама не поняла, что случилось. Поволокла меня к нему домой то ли любовь, то ли пол-литра вискаря.

– Пол-литра любви, – съязвил я.

– Точно! – она расплылась пьяной, манящей улыбкой. – А чувак, понимаешь, неказистый, но харизматичны-ы-ый, сука...

– Прямо как я. Неказистый, харизматичный и сука!

Юля заурчала.

– Нравится, когда ты такой, – она опять коснулась пальцами моего лица. – Шас я тебе покажу его...

На телефоне замелькали фотографии.

– Так... Не то... Ой! Это тебе нельзя! – размашисто прижала экранчик к кофточке. Пошатнулась, оступилась, но я успел подхватить её. Она едва держалась на ногах.

Преодолев слабое сопротивление, заглянул в телефон. Там раздетая Юля показывала грудки – маленькие и пухлые, какие встречаются у ожиревших мальчишек.

– Это он меня фотал, – пробормотала сонным, разваливающимся голоском. – Относится ко мне потрепанный... Как к избушке: “Юленька, стань ко мне задом, к лесу передом...” Надо в туалет. Проводи, пожалуйста...

Я повёл Юлю на второй этаж.

– Тебе понравилась моя грудь? – выпытывала. – Красивая?

– Очень понравилась. Глянуть бы ещё живую...

– Всею своё время! – она засмеялась, словно покотившаяся вниз по ступенькам монетка. – Может, и покажу... Чуть позже...

Наверху было сумрачно и пусто. Я щёлкнул по выключателю, но зажёгся только один плафон. Ремонт на этаже был почти закончен. У стены стояли похожие на зоологические экспонаты кожаные диваны и пара кресел.

В туалете ещё не повесили лампу, из потолка, как пороссячий хвост, торчала завитушка проводки.

– Подожди, я сейчас... – Юля прикрыла дверь.

Стукнула крышка стульчака. Зашуршала одежда и донеслось умиротворённое журчание. А затем стало очень тихо.

Я подождал несколько минут, потом заглянул. Она спала, положив голову на колени. Спущенные трусики и колготки наполовину прикрывали голубые гетры.

Я взял Юлю на руки, вынес в коридор. Положил на диван. Первой мыслью было одеть её, но пальцы сами коснулись Юлиной бритой промежности, тёплой, влажной от недавнего мочеиспускания.

Она вдруг очнулась, промычала невнятно, полусонно:

– Ты что делаешь?

– Ничего... – хрипнул я, отступился.

Её личико озарила беспомощная и нежная улыбка.

– Иди сюда... – Шепнула, обняв мою руку: – Ну, поцелуй меня...

Некогда было снимать с неё колготки. Я резко перевернул Юлю так, чтобы бледный её зад оказался повернут ко мне. Отчаянно торопясь, расстегнул ширинку.

Содрогался, думая: “Она же до смерти пьяна! Мертвецки!”

Оглушительных полминуты я вколачивал в неё своё: “Вусмерть! Вусмерть! Вусмерть! Вусмерть!” – а потом застонал, потёк, вытек, истёк...

Наступил долгожданный октябрьский день, когда в утреннем воздухе разлилось радостное и тревожное, будто удары колокола: “Дем-бель! Дем-бель!..”

Я простился с Цыбиным и Дроновым – они уезжали несколькими днями позже, а Давидко ещё вчера отправился в свой волгоградский посёлок.

Под вечер заводская “газель” покатила меня на белгородский вокзал. По иронии судьбы моим соседом оказался тот самый бедолага Антохин, когда-то не пожелавший идти вместе с нами в землекопы. Он так и остался рядовым. Сидел напротив – сутулый, напряжённый. Боялся пересечься со мной глазами. Всем затравленным своим видом он походил на пса-мученика, которому достаются лишь тычки и сапоги. Возле каждой стройки приживались бездомные собаки. И одному богу известно, почему какой-то бобик ходил в фаворитах, а другой бывал вечно бит и голоден.

Поезд оказался харьковским. Родина приобрела мне на обратный путь удобный нижний плацкарт. Я, как только расположился на полке, заказал чаю. За минувший год изменилась

расфасовка сахара. Проводница принесла две запаянные бумажные трубочки, как в “Макдоналдсе”, а не привычную упаковку с изображением локомотива и рафинадом внутри. Одну трубочку я сунул в бушлат – про запас. Она потом лопнула, сахар размок, и до самого Рыбинска у меня был липкий карман.

День провёл у Тупицыных. Олег Фёдорович всё пытался обсудить со мной насущную политическую ситуацию. А год назад донимал “оранжевой революцией”, огорчаясь моему вопиющему безразличию.

– Нельзя так, Володя, – корил. – Это же тектонические сдвиги! Как-то ты рано душой обленился.

Я тогда грубовато ответил:

– Олег, а вы лопатой помашите десять часов в сланцевой глине и тогда поймёте, что у вас: лень души или сдвиг...

Проход ползал по мне словно обезьянка, а я, как умел, развлекал его. Особенно брату нравилось, когда он становился обеими ногами на мою раскрытую ладонь, а я держал его на вытянутой руке. Проход голосил от восторга, просил Тупицына, чтобы тот повторил забаву, но Олег Фёдорович только отмахивался, ссылаясь на сорванную спину.

За ужином мать и Тупицын выспрашивали: как я мыслю своё будущее, буду ли готовиться в институт? Я отвечал, что недельку-другую отдохну, а потом запишусь на подготовительные курсы при судостроительном, чтобы летом уже наверняка поступить на юриспруденцию. Тупицын кивал и, как обычно, зазывал поступать в свой инженерно-экономический, обещая протекцию и посильную помощь.

Утренним поездом я поехал в Рыбинск. Несколько часов кряду смотрел в окошко. Мною овладела утомительная, болезненная пристальность. Она истощала, как физический труд: угловатые литеры граффити, которыми были расписаны бока гаражей, закопчённый ремонтный завод, жёлтая стена с рифмованным транспарантом: “Метровагонмаш – в метро вагон марш!”.

Началось разрытое до недр Подмосковье. Взгляд скользил по котлованам, земляным насыпям, барханам из щебня и песка, сваям, трубам. Щетинилась рыжая арматура, сновали азиаты в оранжевых касках – не воины-строители, а простые наёмники.

По радио звучало что-то зазорное и глупое. За тонкой перегородкой купе мужской голос с пьяной доброжелательностью декламировал:

– Друж-ба!.. Это круглосу-у-точно!..

Чайная ложка дребезжала в пустом стакане. У старухи, что сидела напротив, нижняя челюсть тряслась в такт перестукам колёс. Рядом с лежащим на салфетке бутербродом муха злорадно потирала лапки, похожая на негодяя из немого кинематографа.

Мост прогрохотал полминуты и кончился. Польшнула стёк-лами сторожевая будка. И я вдруг смертельно затосковал от несбыточной мечты – вот бы сделаться охранником такого моста, поселиться навеки в будке. Месяц за месяцем глядеть на облетевшую чешую листопада, зимние, заметённые снегом берега, весенние обломки льдин, летние тёплые искры, бегущие вдаль по волнам...

На меня отовсюду наваливался штатский мир, от которого я здорово отвык за два года службы.

Сколько же раз я представлял себе пеший маршрут от вокзала к дому. Хотелось вернуться суровым и неожиданным, как солдат с фронта. Но ещё за пару часов до прибытия я не удержался, позвонил из поезда бабушке, сообщил, что к вечеру буду. Спросил, что купить из еды в новом торговом центре – всё равно по дороге. Бабушка уговаривала ничего не покупать – холодильник битком набит.

Набрал отца. Он сдержанно поприветствовал меня и сказал, что завтра же придёт в гости. Позвонил и Толику Якушеву. Друг детства присвистнул, но эмоция его, как мне показалось, была посвящена не самому факту моего приезда, а тому, что пролетело два года. Он-то был уже студентом третьего курса...

В сердце тюкнула былая обида. Поболела да и прошла.

К моему приезду Рыбнинск погрузился в сумерки. Лоснящийся от недавнего дождя асфальт бликовал влажными разноцветными отпечатками фар, окон, уличного неона. Я шёл, втайне надеясь столкнуться хоть с кем-нибудь из знакомых – вдруг обрадуются, удивятся. Но никто не повстречался.

Минут тридцать меня шатало по торговому центру. Растерявшись от съестного изобилия супермаркета, я долго выбирал деликатесы. В итоге взял баночку красной икры. В алкогольном отделе изучал бутылки с вином. Когда продавцы стали подозрительно коситься, схватил первое, что укладывалось в бюджет.

Уже на выходе из торгового центра я заметил кабинку с моментальной фотографией. Сознавая, что военная форма на мне последний день, я укрылся за серой гофрированной шторкой, пристроился на неудобном вертящемся стульчике и сделал перед мутным рентгеновским экраном четыре снимка с вариациями: с головным убором, без него, с улыбкой, без улыбки.

Бабушка, отступив на шаг, всплеснула руками:

– Ты ещё больше вырос, Володюшка! В плечах-то как раздался...

Она готовилась к встрече: уложила волосы, надела новое платье и любимые бусы из малахита. Потом вздохнула:

– Так мне в магазине понравилась ткань, думала, на ней орхидеи изображены, а потом, когда уже Любовь Ивановна пошитое принесла, – смотрю, не цветы, а какие-то банановые шкурки... Или нормально выглядит? Только не ври, пожалуйста.

Я поцеловал бабушку в сладко пахнущую пудрой щёку и сказал, что платье замечательное и очень ей идёт.

– И вдобавок в тапках тебя встречаю, – сказала удручённо. – Пару дней назад нога ни с того ни с сего распухла, – жалуясь, показала забинтованную лодыжку, – и никак в туфлю не лезла, прям как у Золушкиной злой сестры... В общем, раньше переживала, что старею, а теперь и это слово не подходит, – кротко улыбнулась. – Дряхлею я, Володюшка.

– Бабуля, не выдумывай, – у меня перехватило горло. Предательские очки изнутри сразу покрылись испариной. Бравым голосом я вскричал, что пойду мыться, и поспешил укрыться в ванной.

Дома всё было без изменений. Разве что прадедовская живопись, ранее стоявшая прислонённой к стенке и в полиэтилене, теперь украшала коридор и гостиную. Я прошёлся туда-сюда взглядом по картинам и не увидел изображения с надгробием. Бабушка сказала, что “Кладбище” и “Мельницу” унёс отец.

Был накрыт стол с любимой пищей моего детства: печёным картофелем, котлетами и квашеной капустой. К пиршеству прибавились бутерброды с икрой. Бабушка достала семейные рюмки – маленькие, из толстого стекла. Дедушка Лёня в шутку называл их напёрстками. Так и говорил: “Ну, давайте поднимем наши напёрстки...”

Я налил нам вина, и мы выпили за моё возвращение. Пока я ужинал, бабушка пересказывала последние новости. С улыбкой про отца: он в очередной раз выставил свою “мадам” – так бабушка называла его скандальную подружку с вычурным именем Диана. Потом грустное:

– Умер Василий Феокистович. Помнишь его, Володенька? Он к дедушке заходил...

– Помню, бабуля. Жалко...

– Никита приезжал месяц назад. Остепенился, похорошел. Я говорила ему, что ты скоро возвращаешься, он очень хотел с тобой повидаться...

Я знал, что Никита освободился года полтора назад – отец вскользь упоминал об этом. Судя по всему, дела у брата шли неплохо.

– Ой! Совсем забыла! Никита же тебе оставил, – тут бабушка усмехнулась, – как он сам выразился, “презент”!

– Какой?

– Не сказал. Пакет небольшой. Я на твой письменный стол положила...

После ужина я отправился к себе. Как и год назад, мне показалось, что моя комната отвыкла, одичала, словно оставленное без общения существо. Я включил и люстру, и настольную лампу, врубил на компе “Наутилус” вперемешку с “Агатой Кристи”, чтоб растормошить пространство, напомнить ему обо мне.

Никитин подарок в бумажной обёртке лежал на столе. Я разорвал упаковку. Внутри оказалась коробка с “моторолой” – модной раскладушкой V3. Чёрная буква “М” на стальной крышке телефона приятно напоминала бэтменовскую пиктограмму.

Я на радостях сразу переставил симку из моей старенькой “нокии” в новый, роскошный мобильник. Пока он заряжался, разбирался с непривычным меню, фотографировал всё подряд: этажерку, диван, шкаф, своё отражение в окне, а под конец поиграл на электронном бильярде.

Собирался спать до полудня, а проснулся в девять. Чудно было лежать в собственной кровати и ощущать, что утренние подъёмы, каторга с землёй, лопатами, кубометрами – всё это позади.

Приехал отец. С порога обнял меня, затем с самым серьёзным видом полез во внутренний карман пиджака. Я догадывался, что он оттуда достанет.

– Возвращаю в целостности и сохранности... – конечно же, это были мои биологические часы.

Я вдруг с болезненной нежностью подумал, что мне очень повезло с отцом. Ведь в течение двух лет этот немолодой чудак каждое своё утро начинал с заботы о моём благополучии.

Мы позавтракали. А около полудня позвонил Толик, позвал в гости. Я тут же прекратил на него обижаться, подмигнул радостно бабушке:

– Это Толян! Ну надо же, вспомнил!

– Вот видишь! – порадовалась за меня бабушка. – Я же говорила вчера, что пригласит. А ты только зря дулся на него!

Я произвёл ревизию одежды и выяснил, что надеть, в общем-то, нечего. Джинсы смотрелись какими-то подстреленными, словно я отнял их у младшего брата. Были ещё скучные, школьных времён, брюки, пенсионная чета свитеров, водолазка с найковской, похожей на шрам, запятой под сердцем, спортивный костюм, почти новый, но неуместный для званого обеда.

К счастью, деньги на экипировку водились. Сразу после завтрака я направился к торговому центру “Континент”. За пару часов принарядился: выбрал “милитари”-штаны цвета хаки со множеством карманов, утеплённые кроссовки и чёрный бомбер на оранжевой подкладке. Я критически осмотрел себя в зеркале примерочной кабинки и остался доволен. Как сказал бы друг Толика Гошан, получилось “скинхедненько”.

На сердце, впрочем, лежала тень, словно предчувствие чего-то нехорошего. Так и вышло в итоге. Лучше бы никуда не ходил, ни в какие гости.

Собирались Якушевы не ради меня. Оказалось, у мамы Толика, Зинаиды Ростиславовны, день рождения. Я этого, конечно, не знал, так что две мои бутылки водки, принесённые для предполагаемого мальчишника, выглядели мужланским подарком.

Я шикнул на Толика:

– Чего ж ты не предупредил? Я бы хоть цветов купил...

Семейство Якушевых собралось в усечённом составе: старший Якушев – Николай Сергеевич, Зинаида Ростиславовна, Толик и младшая сестра Толика – Люся. Семён и Вадим собирались подойти позже.

Когда я уходил в армию, Люся училась в восьмом классе. За два года она вытянулась и округлилась, превратившись из девочки в девушку, причём довольно симпатичную.

Злобный Толик зачем-то сразу Люсю обидел, сказал, что тщательно запудренные прыщички у неё на лбу – это слово “дура”, набранное шрифтом Брайля. Люся смутилась и покраснела, Зинаида Ростиславовна строго спросила Толика, что вообще такое шрифт Брайля, а я, как полный олух, ответил – это азбука для слепых, – после чего понял, что Люся навсегда записала меня во враги. А Толик лишь хихикал.

Я попытался исправить ситуацию, решив задобрить Люсю прошлым. Вспомнил, как она совсем маленькой рассказывала мне сказку: “Было у царя три сына, Иван Иванович, Иван Петрович и Иван Фёдорович”. Но по злорадной реакции Толика я понял, что и эта история почему-то тоже относится к области издевательств над бедной сестрицей.

Пришёл после работы Вадим. Мне он вроде обрадовался, поприветствовал:

– Как поживает стройбат?

Я выпалил:

– Кто служил в стройбате, тот смеётся в драке!

Вадим сказал, что слышал другую поговорку:

– Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся, – и смазал весь эффект.

Потом Николай Сергеевич поинтересовался, не на службе ли выдают такие шикарные телефоны, а я подумал, что он шутит.

– Так и есть – наградной, дядь Коль! Отличнику боевой подготовки!

А Николай Сергеевич не шутил. И ответ мой получался издевательским. По лицу Вадима я понял, что он слегка обиделся за выпившего отца. Чтобы больше не ляпнуть лишнего, на все расспросы Вадима о стройбате я однотипно отвечал:

– Ничего особенного... – или: – Не при женщинах...

Зинаида Ростиславовна даже укоризненно вздохнула:

– Это что ж там такое было, Володя, что рассказать нельзя? – и повисла неприятная пауза.

Потом появился Семён, и он был не то чтобы трезв. Я с воодушевлением пожал ему руку, а Семён вдруг выдернул ладонь и визгливо, с поднимающейся дрянцой в голосе, спросил:

– Чё ты этим хотел сказать?!

Я даже не понял, про что он. И никто, кажется, не понял.

– Хуле ты мне так сдавил, а?!

Я растерялся от его слов:

– Извини, Сем, просто пальцы у меня, наверное, от работы огрубели и...

– То, что ты где-то там два года свинопасил и соплю на погоны получил, – зло произнёс Семён, – здесь нихера не канает! Понял?!

– Ну, положим, не одну, а три сопلي, – тихо произнёс я, чувствуя, что закипаю.

Я же всё-таки был командиром отделения, бригадиром, мне подчинялась дюжина солдат. И со мной никто не говорил таким тоном.

– Ладно, – сказал я. – Пойду.

– Вот и всего хорошего, – кивнул Семён. – Пиздуй нахуй!

– Сёма, прекрати... – обессиленно просила Зинаида Ростиславовна. – Володя, пожалуйста, возвращайся за стол...

– Ничё, – накручивал себя Семён, – хуле он тут силу показывает! Илья Муромец, блять, на заду семь пуговиц!..

Я пошёл в коридор одеваться. Семён увязался за мной, бубнил как заведённый:

– Вот и всего хорошего, вот и пиздуй нахуй! – а за ним гуськом плелись Толик, Зинаида Ростиславовна, Люся.

Николай Сергеевич фыркал, как кот:

– Мир!.. Мир!.. А ну, мир!.. Мальчишки, мир!..

Я уже дошнуровывал кроссовок, когда Семён, видимо, посчитал, что словесную комбинацию нужно освежить:

– Пиздуй, пиздуй!.. Сержант зассатый!..

Я поднялся. Но был уже не Володей Кротышевым, а бригадиром землекопов.

Метил ему в лицо, потом, уже на лету, передумал, пожалел. Решил приложить в грудь, а попал посередине – аккурат в горло. Семён издал какой-то захлёбывающийся звук, упал, обвалив вешалку, тумбочку и табуретку. Завизжали Люся и Зинаида Ростиславовна:

– Ой-й-й! Он ему кадык сломал!

Толик и Николай Сергеевич бросились поднимать Семёна, я же наконец справился со входной дверью – пальцы тряслись от волнения – и рванул по ступеням вниз.

Бежал и чуть не плакал. Это была реальная катастрофа – устроить драку на дне рождения. Я осознавал, что отныне к Якушевым путь заказан если не навсегда, то на очень долгий срок.

На улице понял, что забыл телефон – прям возле тарелки. Я потоптался в замешательстве, не понимая, как поступить. А затем увидел Вадима. Подумал, что он собирается выяснять отношения, но Вадим, наоборот, приобнял меня и попросил не обижаться на Семёна – мол, у того последнее время одни проблемы, а неделю назад ещё и девушка бросила, поэтому он такой бешеный.

Я благодарно кивнул. Спросил: всё ли в порядке с Семёном?

– Живой и невредимый, ругается и обещает тебя отпиздить! – Вадим рассмеялся. – Но лично я ему не советую этого делать. И вот ещё мобила твоя наградная. Ладно, Вовка, не грусти, всё перемелется. Давай пять...

Я сунул “моторолу” в карман, крепко пожал Вадиму руку, а он с весёлым удивлением сказал, встряхивая пальцами:

– А у тебя и правда не лапа, а тиски! Чё ты там делал такое в армии?

– Землю копал.

Бабушке я не рассказал про инцидент у Якушевых, чтобы лишний раз её не расстраивать. Она только спросила через пару дней: “Чего Толик не звонит, не заходит?” – и я равнодушно бросил: “Сессия началась”.

Прошла медленная, ленивая неделя. От навалившегося безделья я очумел – совершенно разучился обращаться со свободным временем. Хаотично, от ссылки к ссылке, рыскал по интернету, смотрел телевизор, гулял, по ночам навёрстывал пропущенные блокбастеры, которые брал сразу по три – четыре диска в прокатном салоне.

В выпускном классе я завёл блог под вычурным ником “pavlik_mazhoroff”. Френдов у меня было до комичного мало – десять. Как ядовито пошутил когда-то Толик: даже меньше, чем у Оушена. Спустя два года их тоже не прибавилось. Юзерпик с потрёпанной физиономией муровца Шарапова больше не казался мне забавным, но я не придумал, чем его заменить.

Я за три часа накопал бодрый пост, что отслужил и вернулся, повесил ролик из ютуба с песней Бумбараша, пообещал вскорости выложить подробности моих удивительных армейских приключений. За пару дней под постом появился всего один комментарий, да и тот от Тупицына: “Ещё раз с возвращением!”

При таком повышенном интересе к моей персоне сочинительство заглохло, не начавшись. Но я, если честно, даже обрадовался, что необходимость писать отпала сама собой.

Конечно, у меня имелись приятели и кроме Толика. Мы встретились, потрепались под пиво в заведении под названием “Кружка”. Но у всех были дела: учёба, работа, подруги, а я всё никак не мог попасть в прежние маршруты, связи, привычки.

А в пятницу вечером позвонил отец. Сказал, что ждёт у себя и что у него сюрприз.

Водку отец не пил, поэтому я купил молдавский коньяк “Белый аист” пятилетней выдержки (отец когда-то хвалил его), люминесцентного цвета лимон, плитку шоколада и пакетик арахиса.

Я не особо жаловал отцовскую однушку. Она напоминала мне, что сюда когда-то отправились в жертвенную ссылку дедушка с бабушкой, чтобы обеспечить нас отдельной квартирой.

Дом был панельной девятиэтажкой конца восьмидесятых. Перед подъездом стояло с десяток машин. Я сразу обратил внимание на чёрный, заляпанный у крыльев грязью “ленд-ровер”. Уж очень он выделялся среди чахлах детищ отечественного автопрома.

Отец принарядился: в костюме и с галстуком, разве что верхняя пуговка на рубашке была фривольно расстегнута. За минувший год он совсем поседел. Очки, которые отец раньше терпеть не мог, окончательно прописались у него на переносице. Он чуть прибавил в талии, но брезгливых морщин на лице однако ж стало меньше. Бабушка рассказывала, что отец порвал с утомлявшей его нервной систему государственной службой и зарабатывал исключительно вольным репетиторством.

– Проходи, Володька, – отец распахнул объятия, душисто выдохнув каким-то дорогим алкоголем. – Рад тебя видеть!

Я поставил пакет с “Аистом” на пол, и мы обнялись.

– Вот теперь мы в сборе – весь мужской комплект Кротышевых!.. – сказал он, подмигивая.

После изгнания отцовской Дианы уюта в квартире поубавилось. При ней свежо пахло каким-то чистящим средством, а теперь стоял дух разогретой пищи и мусорного ведра. Зато на стене в коридоре между прихожей и кухней висела унесённая от бабушки “Мельница” в облупившейся позолоченной раме. В комнате работал телевизор – какая-то музыкальная программа. Отец обычно не переключался с канала “Культура”. Но кроме негромкого оркестра в комнате звучали два невнятных голоса: мужской и женский.

– Никита, – отец молодцевато гаркнул. – Володька наш пришёл!

Я услышал истошный скрип стула по паркету, и буквально через несколько секунд в прихожей появился мой старший брат Никита.

Теперь ему было уже за сорок. Он если и отличался от себя шестилетней давности, то незначительно. Был широк и крепок, походка осталась тяжёлой, словно Никита каждым своим шагом сокрушал ползучее насекомое. Смешного заячьего чубчика больше не было, новый Никита брился наголо, и ему это очень шло. Вдобавок он носил очки в изящной стальной (а может, платиновой) оправе. Брат зубасто улыбнулся дорожкой керамикой. Некрасивый золотой запас из его рта бесследно исчез, как пропали и спортивные шаровары. Теперь на Никите были брюки дюралевого цвета и светлая шёлковая рубашка.

– Вымахал с пацана до мужика... – сказал Никита растроганному отцу. – Ну, здорово, брат Володя!

Наши ладони шлепком встретились – будто сцепились пасть в пасть два бойцовских пса. Пожатие у Никиты было железным, но и моё оказалось, в общем-то, не слабее. Никита чуть поднажал, я тоже.

В застеклённых глазах Никиты полыхнуло злым азартом – будто поднесли и быстро убрали нехорошую свечу.

– Жми! – приказал он. – Жми! – и сам стиснул мою кисть ещё крепче.

Чуть ли не полминуты мы азартно ломали друг другу пальцы, а затем, словно по команде, расцепились. Лицо Никиты порозовело, он одобрительно оглядел меня, затем излишне жёстко хлопнул по плечу, но сразу после этого обнял:

– Молодец, братик! Со мной обычно никто не тянет! Батя говорил, ты в стройбате служил...

Я не успел кивнуть. Насмешливый женский голос сказал раньше:

– Нет, в штабе писарем отсиделся.

Я повернул голову. Та, что стояла в дверях, была избыточно хороша. В моём домашнем порногареме издавна любимицей ходила чешка Сильвия Сэйт, блондинка с лицом порочной Барби.

У этой белокурые волосы оказались короткими, зачёсанными наверх, мальчишескими хулиганскими вихрами, как у какого-нибудь сына полка, только не советского, а эсэсовского. Огромные глаза светлого оттенка – то ли серые, то ли голубые. Длинные, до бровей, ресницы. Сами брови не тощие ошипанные скобочки, а словно бы крошечные собольи шкурки, прилепленные над глазами. Бледная подростковая шея. Кромку маленького уха украшало созвездие пирсинга – серебряные гвоздики.

– Никит, – сказала. – Познакомь со своим братом.

Томно-липкий её, тянущийся взгляд опутывал, точно паучья секреция.

– Это Алина, – у Никиты от внезапной нежности даже просел голос. – Моя... э-э-э... Бать, как лучше сказать? Спутница?

– Ага, супница жизни... – она лениво передразнила его, чуть поморщив алый рот.

Отец, обычно сдержанный, неожиданно захохотал, будто услышал что-то удивительно смешное.

Она протянула мне тонкую кисть, улыбнулась белым, как из рекламы “Орбита”, ослепительным оскалом.

– Вообще-то, меня зовут Эвелина. Но Алина мне больше нравится.. – произнесла нежно, вкрадчиво, как лиса из сказки.

Я чуть коснулся её пальцев и побыстрее отдернул руку...

Высокая, тощая Эвелина-Алина. Узкие босые ступни – длиннопалые, с красным лаком на ногтях. Очень молодая – моя ровесница или, может, на год-другой старше. На ней были какие-то модные джинсовые лохмотья, открывавшие манную белизну тощих коленей. Футболка с растянутыми, долгими, как у Пьеро, рукавами чуть съехала с худенького плеча, обнажив вытатуированную кошачью голову – хорошо разглядеть рисунок я не успел, потому что Алина сразу подтянула ворот футболки...

Я видел, как Никита на неё смотрел – убийственно-нежным, звериным взглядом, точно прирученный изверг. Я вдруг понял, что и отцу она тоже пришлась по вкусу. Недаром он осанился, хорохорился, даже смеялся – это на него было совсем не похоже. Но если отец просто получал удовольствие от присутствия такой красотки, то я испытал лишь внезапное уныние: “Девушка, которая мне понравилась, принадлежит моему старшему брату”.

Мы прошли в комнату. Там всё было без особых перемен, разве что появился новый телевизор, и на стене, прямо над обеденным столом, отец приспособил картину с кладбищем.

Сели за стол. Отец обошёлся универсальным гарниром из варёной картошки, прибавив несколько сортов колбасных нарезок, а содержимое рыбных консервов вывалил на блюда – сардину или сайру. Было несколько покупных салатов из гастронома и просто мытые овощи.

Я, стараясь не пересекаться взглядом с Алиной, шлёпнул себе на тарелку комковатого пюре, добавил крабового салата, колбасы и маслин.

– Так ты в стройбате служил? – дружелюбно повторил вопрос Никита. – Давай, братик, за встречу... Вискаря? – подхватил тёмно-зелёную бутылку. – Бать, тебе обновить?.. Алиночка, винца?

Себе Никита слил остатки пузыристой боржомом. Подмигнул Алине:

– Киса... – Она с неудовольствием встала и принесла из кухни запотевшую бутылку с минералкой.

Брат пояснил с сожалением:

– У меня сухой закон. За рулём. Через час поедем уже.

– Куда? – волнуясь, спросил я. – Домой?

– Не, домой завтра, а сегодня в гостиницу. Отдохнуть поедем... Да, милая?! – поставил стакан и вдруг, хищно извернувшись, попытался поддеть рукой Алину за промежность.

Алина вывернулась и от души врезала Никите по руке.

– Алё! – разгневанно воскликнула. – Совсем офонарел?! Веди себя прилично!

Брат сконфуженно загоготал, а я испытал совершенно недостойное, злорадное чувство, подумав, что Алина, наверное, не особенно любит Никиту.

Ещё подрагивая плечами от неудовольствия, она взяла с края стола пачку сигарет и удалилась на балкон. Никита проводил её болезненным, зависимым взглядом и, когда закрылась дверь и остановилась колыхнувшаяся штора, сказал:

– Придушу однажды. Или женюсь! – потом лязгнул коротким хохотком, как бы давая понять, что не задушит, а женится.

Я порадовался, что Алина вышла. Во рту у меня скопилось с полдюжины косточек от маслин, которые я постеснялся при ней выплёвывать – хотел произвести хорошее впечатление.

Мы выпили по второму разу и я, пользуясь отсутствием Алины, торопливо принялся за еду.

– Прикинь, девка работала в загорском жилкомхозе у начальника управления, потом пресс-секретарем у главы администрации, – Никита обращался больше ко мне, потому что отец, видимо, уже это слышал. – По возрасту ссыкуха ж совсем, в дочки мне годится, но мозги шустрые – дай боже!..

– Да, весьма толковая девочка, – согласился отец. – И мышление такое нестандартное, острое и...

– Ну, а что ты хочешь, бать, – перебил его довольный похвалой Никита, – она в Москве этот, как его... не МГУ, а Мориса Тореза...

– Мглу закончила, – от вернувшейся Алины пахло ароматизированным женским куревом. – Вначале мгла поглотила меня, – она уселась рядом с отцом, и тот засиял, – а потом извергла... Ну, Эм-Гэ-Эл-У, – произнесла по буквам, – московский лингвистический университет... Сергей Леонидович, – повернулась к отцу, сменила тему, – мне очень, очень нравится эта картина...

– Мне тоже, Алиночка, – отозвался польщённо отец. – Возможно, не бог весть какой шедевр, – прибавил, кокетничая, – но всё ж таки работа настоящего мастера, пусть и не относящегося к первому эшелону отечественной живописи.

– Сергей Леонидович, я думаю, только время покажет, кто из какого эшелона...

– Соглашусь! – и было видно, с каким удовольствием он согласился. – И кроме прочего, картину рисовал мой двоюродный прадед, а ваш, хлопцы, соответственно, прапрадед. Этот Кротышев упоминался в Большой советской энциклопедии первого издания, в тридцатом-

нике... Но, возвращаясь к нашему разговору, Алиночка, меня зацепили ваши слова про связь биоэтики с визуальной концепцией надгробий...

– Сергей Леонидович, – с готовностью отозвалась Алина, – ну очевидно же, что кладбищенская архитектура, мемориальная культура вообще напрямую связаны с биоэтическим контекстом, а именно отношением общества к умершему телу!..

Мне вдруг показалось, что Алина и отец неожиданно заговорили на каком-то другом языке, лишь наполовину русском.

Никита скорчил персонально для меня кислую гримасу – мол, куда нам, дуракам, до этих интеллектуальных высот.

– Я хотела сказать, что как только мы подвергаем критике учение о бессмертии души, то сразу же начинаем задумываться о сохранении тела или хотя бы консервации памяти о теле, то есть – о надгробии. К примеру, в исламском мире, более фундаменталистском, чем христианский, надгробное сооружение не подгружено социальным контекстом. Оно не декларирует статус, иерархию – всё то, что по сути персонифицирует бренность, тленность и преходящность. Надгробие – просто указатель: здесь находится труп. Всякий же расцвет кладбищенской архитектуры приходится на очередной духовный кризис. Та же викторианская готика с её мрачной вычурностью есть реакция на пессимистическую философию начала девятнадцатого века.

– Шопенгауэр, Кьеркегор... – покивал отец. – Толкователи уныния.

– Даже в литературе того времени все эти романы о разумных, но безнравственных живых мертвецах...

– Я бы добавил – безымперативных живых мертвецах, – с наслаждением произнёс отец. – Так точнее.

– Все эти Франкенштайны и Дракулы – это симптомы возникшей в христианском обществе биоэтической дилеммы...

– Пойдём покурим, – зевнув, сказал Никита.

Поднялся и пошёл вперевалку к балкону. Мне, конечно, было интересно послушать весь этот заумный щебет, но, чтобы не обидеть брата, я тоже встал и последовал за ним.

Отец совсем захламил балкон. Половину пространства занимали пустые коробки из-под бытовой техники, какие-то рейки, доски, пластиковые ведёрки с краской, хотя отец ничего не ремонтировал. Мне, чтобы поместиться рядом с Никитой, пришлось одной ногой встать на перевёрнутый эмалированный таз, противно бзыкнувший об пол.

Я вдруг со стыдом подумал, что до сих пор не поблагодарил брата за его подарок:

– Никит, спасибо большое за телефон!

– Да перестань... – он протянул пачку сигарет. – Не куришь? Вот и правильно, – щёлкнул зажигалкой, закурил. – Смотри, братик, что я могу сказать по твоему вопросу...

Я подумал, что вообще-то ни о чём его не спрашивал, но изобразил внимание и заинтересованность.

– Тот хуй, из-за которого я тогда срок мотал, ну, ты понял... В общем, фирма теперь моя... История долгая, потом расскажу.

– Это хорошо, Никит, главное, чтоб проблем не было.

– Не, – Никита вяло шевельнул лицом. – Всё улажено и по закону... Чем занимаюсь?.. Памятники льём из бетона, ну, там новый такой состав, не совсем уже бетон, выглядит достойно. Цоколи, бордюры... Откроем скоро цех по производству искусственных цветов, венков и прочих аксессуаров... Ну, не цех, понятно, а мастерскую. Что ещё? Сотрудничаем тесно с местным муниципалитетом, в общем и целом всё схвачено, так что работы много, перспективы большие... У тебя какие планы на жизнь?

– Пока не знаю, – сказал я. – Поступать надо куда-нибудь. Может, на юридический.

– В Москве, у мамина-сибиряка? – Никита хохотнул и пояснил остроу: – Ну, у нового мужика матери твоей. Как его? Тупицын?!

– Не, я здесь поступать думал. В наш судостроительный.

– Встать, суд идёт! – снова пошутил Никита. – Ну, понятно, образование нужно. Но ведь можно и на заочном учиться, братик, да?

– Да я и думал на заочном...

Мне не особо понравились подколы про сибиряка Тупицына. Я решил сменить тему и спросил:

– Никит, а часы с тобой?

– Со мной! Куда ж они денутся... – он полез во внутренний карман. – Сверим?

На моих было семь утра. Никитины показывали без четверти девять.

– Рядышком идём, – тихо обрадовался Никита, пряча свою “Ракету”, – ну, я на полтора часа постарше... К чему я этот разговор завёл. В Рыбнинске, без обид, ловить нечего, – он выразительно двинул подбородком в сторону многоэтажек и дымящих труб рыбнинской ТЭЦ. – Понятно, тут отец и бабуля, но тебе же надо жизнь строить. Мы с тобой люди простые, рабочие, никто нам не поможет, кроме самих себя. Ты подумай. Мне проще взять в бизнес родного брата, чем кого-нибудь со стороны. Будешь иметь стабильно косарь в месяц или больше. По поводу образования. В Загорске всяких московских институтских филиалов – жопой ешь. Я не просто так это говорю, я от Алинки знаю. А не захочешь в Загорске – до Москвы рукой подать, девяносто километров, полтора часа на электричке, – тут Никита подмигнул, – и ты у Мавзолея... Деньги на учёбу будут. И не только – на всё остальное тоже... – Он покровительственно забросил руку мне на плечо. – Я не агитирую, братик, ты подумай. Потому что бизнес, конечно, специфический, сам понимаешь – памятники, плачущие родственники, все дела... Шучу. В общем, дело стоящее и прибыльное. Отец говорил, что ты могилы в армии копал?

– Было дело, – я усмехнулся. – Зимой копал, часов наверное эдак...

– Устал чего-то... – Никита снял очки и, словно сонный ребёнок, потёр кулаками глаза. – Вырубает. Щас поедем. Надо сказать Алинке, чтоб пиздёж учёный сворачивала.

Никита почистил стёкла уголком рубашки и снова надел очки.

– Большой минус? – спросил я.

– Не, зрение у меня в порядке. Алинка заставила носить для имиджа. Права по-своему, нужно выглядеть солидно и без агрессии. Видишь, – он показал кисть. На месте, где раньше топырил крылья несуразный чернильный орёл, остались лишь невнятные контуры. – Всю дворовую дурь поудалял...

Я не стал расстраивать Никиту, что и в очках он выглядит угрожающе.

Мы вернулись в комнату. Отец с Алиной даже не обратили на нас внимания.

– Сергей Леонидович, говорить об аскетизме советского кладбища можно лишь в его довоенном и послевоенном контексте. А вот начиная с Хрущёва, мещанство взяло своё...

– Тогда ограничимся периодом сварной тумбы со звездой. Это минималистический памятник военного образца. И при этом в Советском Союзе никакого религиозного подъёма не наблюдалось!

– Но была идеология, как особый подвид бессмертия. А нынешний, условно скажем, ренессанс кладбищенской архитектуры... Подчёркиваю, что условный, потому что по сути мы имеем дело с откровенным китчем... Этот псевдоренессанс отражает очередную волну утраты веры в бессмертие души при всех внешних проявлениях религиозности... Никит, – повернулась. – А брат твой, оказывается, не просто в армии служил, а копал. И не просто землю, а ещё и могилы!

– Ага, – подтвердил Никита, – наш человек... Алин, давай потихоньку собираться будем. Бать, мы поедем.

– Ваш, ваш! – радостно поддакнул отец. – Володька, я просто Алиночке рассказал о твоей службе.

– Никит, – продолжала Алина. – И правда, забирай его к нам... – Володя, – обратилась уже ко мне. – Приезжай...

Эти слова отозвались в моей душе эхом из раннего детства: “Будешь у нас копать!” – когда харизматичная девочка Лида-Лиза поманила меня на кладбище. И я не сумел отказаться.

Чёрный “лендровер” у подъезда, конечно же, принадлежал Никите. Алина уселась рядом на переднее сиденье. Я примостился сзади, сдвинув вбок целый ворох бумажных пакетов – наверное, Алинин шопинг.

Салон машины источал едкий дух новой кожаной куртки. К нему подмешивались ёлочный освежитель и дурманящий парфюм, которым надушилась Алина.

Никита повёз меня домой. По дороге мы перекинулись парой фраз, в остальное время они общались между собой, точно меня и не было.

Я видел, как Алина то и дело сжимала Никиту за указательный палец правой руки – толстый, неприлично похожий на эротическое шупальце.

Никита с грубой нежностью выговаривал:

– Ты ж парадигма бинарная! – трогал Алину за подбородок, поглаживал по худенькой шее. – Вот что бы ты сама решить могла?! Да никуя!

Алина покатывалась со смеху:

– Никит, какой же ты придурок! Вот как это – бинарная парадигма? Объясни!

– А вот так! – рука Никиты коршуном падала вниз, прихватывала Алину за что-то укромное, она верещала, а Никита декламировал: – Да здравствует мыло дегтярное!.. И парадигма бинарная!.. – веселил её, и, судя по бурной реакции Алины, у него получалось.

Я, чтобы не щемило глупое сердце, с самым что ни на есть равнодушным видом глядел в окошко.

Никита притормозил возле моего подъезда.

– Мы подниматься уже не будем, – произнёс, зевая. – Ну, давай, братик! Подумай над моим предложением. Бабуленьке привет, и скажи, что завтра к ней заглянем.

Я вышел из машины. И почти сразу же открылась передняя дверь. Алина сначала выставила ногу в изящном сапожке. Подумала секунду и выскользнула целиком. Произнесла:

– До встречи, Володя...

Я протянул ей на прощание руку. И вдруг тёплый, чуть влажный кулачок Алины сомкнулся вокруг моего указательного пальца и несколько раз его стиснул – судорожные, глотающие движения. Точно так же она пару минут назад ласкала Никитино шупальце.

Меня качнуло. В совестливом ужасе почудилось, что Никита всё увидел и сейчас, рокоча от бешенства, выкатится из машины. Но Никита сидел, дальнозорко уставившись в телефон – стильную “нокию” в титановом корпусе.

Я снова налетел очумевшими глазами на Алинин ведьмачий прищур, на её приоткрытый, будто бы опухший от поцелуев рот. Она разжала кулачок, одарила заговорщицкой улыбкой и юркнула обратно в машину. Хлопнула дверь, чёрный джип медленно поплыл в дорожную темень, пульсируя налитыми кровью фарами.

Несколько минут я стоял перед подъездом, подставив сырому, морозящему ветерку пылающее лицо.

Я с восторженной обречённостью понимал, что в Рыбнинске в самом деле нулевые перспективы и лучшее, что я могу сделать, – это в самое ближайшее время отправиться к Никите.

Бабушка открыла мне дверь и, не успев я передать ей слова Никиты, что он зайдёт к нам завтра, поинтересовалась:

– Как тебе его подружка?

– Ну, такая... – я стащил, не расшнуровывая, кроссовки. – Симпатичная вроде... А что? Бабушка сочувственно покачала головой:

– Девка яркая, умная, но вздорная. И очень недобрая. Бедный Никита, – вздохнула. – Трагедией бы вся эта его любовь не кончилась...

Я промолчал.

О деловом предложении Никиты я рассказал бабушке уже на следующий вечер, потому что ни утром, ни днём Никита у нас так и не появился, лишь коротко позвонил, что они с Алиной уже на пути в свой Загорск.

Когда я сообщил бабушке, что собираюсь в ближайшее время навестить Никиту, она расстроилась, будто почувствовала, что намечается не просто поездка в гости, а в лучшем случае долгая командировка.

Я, конечно, как мог, заверял её, что это не более чем визит вежливости. Кроме того, я регулярно заводил беседы о Рыбнинске с одинаковым унылым рефреном:

– И вот даже не знаю, бабуля, чем же мне здесь заняться?.. – после чего выдерживал задумчивую паузу, как бы предлагая бабушке воспользоваться повисшей тишиной и сказать: “Ну, съезди, Володюшка, к Никите”.

Мне самому было грустно уезжать из Рыбнинска, очень не хотелось оставлять бабушку, но назойливая мысль об Алине не давала покоя. Ночами я только и делал, что воскрешал в памяти Алинино пожатие, такое нежное, что оно больше напоминало ласку слизистых, а не кожных покровов...

Из насущных дел было только посещение военкомата, где я встал на учёт. Поскучав ещё пару дней, позвонил брату. Никита отвечал сдержанно. По его голосу было непонятно, рад он, равнодушен или, наоборот, раздосадован моей инициативой:

– Ок, приезжай...

Мы договорились, что я уже из Москвы наберу его и он подхватит меня на вокзале в Загорске.

Я и сам не понимал, надолго ли уезжаю. Как обустроить свою жизнь в Рыбнинске, я не знал. Армейских сбережений оставалось немного, а находиться на иждивении, даже временном, было стыдно.

Отцу сказал, что отправляюсь в Загорск на разведку. А он будто забыл, что неделю назад сам агитировал поехать к Никите. Или же я просто попал под его скверное настроение.

– Я как-то надеялся, – кисло сказал отец, – что твои жизненные амбиции несколько выше статуса подсобного работника в мастерской по производству памятников.

Я начал оправдываться, присочинил на ходу, что Никита обещал мне партнёрство по бизнесу, ведь я не кто-нибудь со стороны, а родной брат.

Отец безнадежно махнул рукой:

– Делай, Володька, как хочешь. Взрослый, в конце концов, человек. Просто я бы тебя тут натаскал за полгода, поступил бы хоть на заочный...

Чтобы лишний раз не тревожить бабушку, я собрал в дорогу небольшую спортивную сумку, умеренный объём которой не навевал, как мне казалось, мыслей о долгой разлуке. Также прихватил купленный накануне учебник по философии для вузов. Я намеревался тщательнейшим образом его проштудировать и потом не раз блеснуть в разговоре с Алиной неожиданной эрудицией.

Проходящий поезд уходил из Рыбнинска утром и прибывал в Москву к вечеру. Уже лёжа на верхней полке, я открыл главу “Становление иррационалистической философии”, чтобы разобраться, о чём там толковали “певцы уныния” Кьеркегор и Шопенгауэр. Одолея первый абзац: “История философии не может быть истолкована как линейный процесс, потому что она носит циклический характер”. Как родному улыбнулся “слову парадигм”, дошёл до: “Самым известным представителем антигегельянской метафизики индивидуального стал датчанин Сёрен Кьеркегор”, после чего зевнул и намертво заснул под тряску вагона. А когда проснулся, то оставшиеся до Москвы три часа безостановочно думал об Алине, на все лады воображал нашу встречу. Как я приеду и будет вкусный ужин, а Никита куда-то в ночь засобирается и мы останемся одни, поговорим о Кьеркегоре (время есть, прочту в электричке), нехотя разойдёмся спать, каждый в свою комнату. Алина робко постучится, скажет, что ей страшно одной (или холодно), приляжет рядом, а я укурю её одеялом и... Одним словом, в своих мечтах я недалеко ушёл от персонажа фильма “Тупой и ещё тупее”.

Впрочем, даже в этих фривольных фантазиях я не доводил дело до интима, всё заканчивалось моими благородными, категоричными словами: “Алина, прости, но я так не могу, Никита – мой брат, я его уважаю...” Потом я наспех представлял, что Никита влюбляется в другую женщину, а я по-мужски говорю с ним, и он разрешает встречаться с Алиной: “Да без обид, братик! Она мне совсем не нужна”, – и вот тогда... Я поворачивался на живот, потому что мне казалось, что вздыбленность моих штанов видна соседям по купе.

Этого романтического топлива мне с избытком хватило, чтобы дотянуть до Москвы и не скучать.

С Белорусского вокзала я отправился на Ярославский. В вагоне метро несколько раз перечитал рекламное объявление: московский метрополитен приглашает на учёбу будущих машинистов электропоезда. Обещалась заоблачная зарплата в шестьдесят тысяч рублей и стипендия на время учёбы.

Неизвестный юморист шариковой ручкой жирно вписал букву “и” в слова “электропоезда”. Я усмехнулся и подумал, что вполне можно было бы выучиться на машиниста. Замечтавшись о чёрных туннелях, в итоге чуть не проехал свою станцию.

На улице было промозгло и слякотно. Сыпал колючий, вперемешку со снегом, дождь. После мучительных раздумий я купил в киоске пятизвёздочную “Метаксу” и нарядную, с красным бантом, коробку “Рафаэлло” – гостинцы для Никиты и Алины.

Возле пригородной кассы ко мне пристал омоновский патруль. Вначале проверили документы, потом попросили открыть сумку. Оказывается, в этот день был “Русский марш” и с ним были связаны какие-то беспорядки. Я честно сказал, что впервые слышу о таком мероприятии. Хмурый, озябший до сиреневых щёк старлей с недоверием ответил:

– А выглядишь так, будто прям оттуда...

Я на всякий случай показал билет из Рыбнинска, доказывающий, что я с поезда, а никак не с марша, после чего меня отпустили. Электричка на Загорск как раз отправлялась через десять минут.

Я позвонил Никите и сообщил, что выезжаю.

Закинув сумку на багажную полку, я развалился на твёрдой прокопчённой скамье. Из тамбура тянуло куревом, пивной подворотней и ещё чем-то неуловимым – жизненным перепаром из бытовых неурядиц, бедности, семейной тщеты.

Все полтора часа до Загорска я решил честно посвятить “Философии для вузов”. От окошка проку всё равно не было – вместо пейзажа я видел только моё масляно-чёрное, словно из нефтяной лужи, отражение.

У женщины, торгующей напитками, для ясности ума купил “двойной” кофе – то есть она сыпанула ложечкой две дозы своего растворимого порошка. Стенки и донце стаканчика от кипятка сразу размякли, потеряв всякую упругость. Я, пока не допил, держал бесформенный стаканчик в горсти.

Принялся за чтение и оторопел. Учебник безжалостно унижал меня каждой строчкой. Вроде бы понятные по отдельности слова вместе не складывались в смысл. Я чувствовал себя крошечным идиотом.

Отвлекали ещё коробейники, идущие бесконечным табором через весь состав. Наперебой предлагали книги, газеты, поливочные шланги, универсальные гаечные ключи, шторки, мочалки, средства для выведения пятен. Несколько выбивался из этого потока инвалидов с песней. Он исполнял её под минус в магнитофоне, тоненько и жалобно: “Тринадцатый поезд, тринадцатый поезд несё-о-от меня вдаль!..” – и я бросил ему горсть мелочи.

От отчаяния в главе о Шопенгауэре я подчеркнул единственную фразу, содержание которой кое-как понял: “Сущность мира лишена рационального начала. Неудивительно, что подобный мир являет собой арену бесконечных ужасов и страданий”.

Отложив непроходимую “Философию”, я остаток дороги вслушивался в невнятный голос из динамика, объявляющий станции, – боялся прозевать Загорск. Спросил у сидящего напротив старика с колдовской бутафорской бородой: скоро ли? И он ответил: “Скоро”.

В Загорске вышла почти вся электричка. Но уже через пару минут вокзальная площадь снова опустела. Разъехались маршрутки, отбыл рейсовый автобус, и остались лишь неприка- янные такси.

Никитин джип стоял неподалёку от павильона “Евросети”. Я шёл и чувствовал, как чудовищно, до ватной дрожи в ногах, волнуясь. Я мог сколько угодно себя убеждать, будто приехал в Загорск ради заработков, но суть-то была самая неприглядная – мне нравилась женщина моего брата и я на что-то надеялся.

Я подумал, что Никита, наверное, следит за мной сквозь тонированное стекло, и постарался скопировать его командорскую поступь.

Открыл дверь джипа, сказал нарочито бодрым голосом:

– Привет, Никита!

– Здорово... – он отозвался. Сказал строго: – Ты погоди сумку в салон пихать! Она чистая?

– Вроде да. На грязное точно не ставил.

– Тогда кидай на заднее сиденье. – Одобрительно удивился: – Одна, что ли? Ты, я погляжу, аскет... Ну, велкам ту Загорск, Володька!

В этот раз Никита не мерялся силой, ладонь его была расслабленной, почти дряблой. Очевидно, так у брата проявлялось дружелюбие. За прошедшие полторы недели он выборочно оброс неряшливой щетиной.

Заметив мой взгляд, сказал:

– Да, блять, бороду отращиваю... Такую... – он смущённо пощипал пальцами подбородок, – академическую. Алинка заставила, – и сразу же поправился: – Упросила, в смысле. Работает над моим имиджем. Хотела, чтоб я серьгу ещё носил, но тут я уже вежливо послал нахуй! – хохотнул. – Есть золотое правило – уступай бабе в мелочах...

Мы выехали с площади.

– Как добрался? – спросил Никита уже совсем дружелюбным тоном.

– Нормально... Такой вокзал у вас цивилизный...

Я подумал, что слово “цивильный” абсолютно чуждое для меня и употребил я его только из-за Никиты, в рамках поиска “общего языка”:

– Похож немного на наш, Рыбнинский.

– Середина девятнадцатого века, неоренессансная ветвь петербургской архитектуры! – Никита после неожиданного слова “аскет” в очередной раз удивил меня. – Короче, ампир, блять... Я ж тебе говорил, Загорск – те же яйца, только к Москве поближе. В Рыбнинске сейчас сколько народу живёт?

– Не помню, вроде двести тысяч.

– А умирает сколько? Не знаешь? А я тебе подскажу... Гляди, Троицкий собор...

Я послушно повернул голову, чтобы зацепить взглядом подсвеченную белую стену и тусклые луковицы храма.

– Средняя цифра смертности по стране: тринадцать – пятнадцать тысяч на миллион. В городе с населением в двести тысяч за год умирает две с половиной – три тысячи... Тоже достопримечательность, усадьба Кошкина... Или не Кошкина... Уточню потом у Алинки, она всю эту архитектурную байду лучше любого гида знает. Стили, направления, церкви, иконы, какой век, кто рисовал...

Мелькали приземистые, уютного вида особнячки с магазинными вывесками. Окна первых этажей находились буквально в полуметре от земли, словно бы дома с годами погрузились в землю.

– Площадь Ленина... Гостиный Двор... Загорск поменьше, конечно, чем Люберцы или Мытищи, но тоже нормальный... Это драмтеатр... А покойников у нас, стало быть, за год набирается в среднем полторы – две тысячи. К чему я тебе это всё говорю... – Никита коротко глянул на меня.

– Ну, что их всех нужно похоронить и потом поставить памятник, да?

– Верно... – он оскалился щетинистым уголком рта. – Основной вопрос: кто именно будет делать памятник?.. Монастырь загорский, плохо видно отсюда. Монахи, службы, все дела. Недавно патриарх приезжал. Туристов, особенно летом, жопой ешь. Загорск чуть ли не в Золотое кольцо входит, или собирались его недавно внести... Вот администрация, а до революции была земская управа...

В салоне пахло куревом и химическим лимонным освежителем, но мой нос чуял и эхо нежного Алининого аромата.

– Что я, Володька, хочу тебе сказать! – Никита круто налёг на руль, так что нас качнуло. – Люди рождаются, жрут, срут, умирают. Поэтому всё, что связано с жизнедеятельностью, а также с её завершением, по идее, приносит стабильное бабло. Но, как ты понимаешь, далеко не всем. А почему, спросишь? Да потому что конкуренция эта ебучая только на словах хороша, а по сути люди тупо мешаются друг у друга под ногами! Делим прибыль на десять человек или на двоих – разница есть?! Если в том же Загорске будет десять контор по памятникам – никто не зарабатывает. Я это много лет назад понял, ещё когда в Луже, ну, в Лужниках, – он для наглядности растопырил ладонь, – пять торговых точек держал! Честно тебе скажу, я производственную мутотень, техпроцесс так называемый, не знаю и знать не хочу, потому что это не главное. Я понимаю суть рыночной экономики! А она такая: пиздеть как можно больше о свободной конкуренции и при этом максимально жёстко херачить всех, кто конкуренцию тебе составляет. В идеале, чтоб вообще никого не осталось и ты один был на весь свободный рынок. Это я не к тому, что в продаже должна находиться всего одна марка автомобиля, типа “Жигули”, и больше ничего. Я имею в виду, что в одном городе не должно находиться три салона по продаже этих самых “Жигулей”. Иначе не заработать нормально. Ясно?

По голосу Никиты было слышно, что он сам себя накрутил и завёлся.

– Разумеется...

– Кафе или рестораны – это пожалуйста, сколько угодно, – раздражённо выговаривал брат, будто бы я до того активно возражал ему, а потом всё понял и согласился. – А в похоронке только минимум конкурентов! Иначе делёж, споры, разборки...

Он чуть помолчал, успокоился:

– Вот я тебе в прошлый раз не дорассказал. В Загорске с советских ещё времён был специализированный комбинат. Памятники делали, гробы, всю мертвяцкую бижуху, и сами же хоронили. Город обслуживают два кладбища – старое и новое, они так и называются – Старое кладбище, Новое кладбище. На старом уже не хоронят, только семейные подзахоронения. И вот один деловой перец по фамилии Шаповалов, – Никита озвучил предельный сарказм, – открыл частное предприятие “Реквием”, памятники из натурального, не ебаться, камня. И был в партнёрах у него такой жидяра ушлый, Гликман, весь такой на скользких понтах: “Кобзона лично знаю...” – Никита презрительно цыкнул. – Он до того приватизировал цех по памятникам из мраморной крошки, ООО “Мемори”, и в итоге у комбината тупо осталась мастерская по производству времянок. Тумбы из оцинкованной стали, кресты, оградки. Знаешь же, что такое времянка? Её ставят, пока могила не усядет, а потом уже постоянный памятник. И на установке ещё зарабатывали, плюс шахеры с землёй под могилы. Это был девяносто четвёртый год...

Никита резко сбавил скорость, мы осторожно перекатились через какую-то рытвину. Под днищем стукнуло, джип тряхануло.

– Пидоры! – выругался Никита. – Дорога убитая!.. И тогда же друган мой из Красноармейска открылся, Валерка Сёмин, “Последний путь”. Он из бетона памятники делал. И делает... А приколы в том, – это, видимо, было важно, потому что Никита удостоил меня быстрым поворотом головы, – в Загорске натуральный камень вообще никому нахер не всрался. Ну сам подумай, если древний родственник кони двинул – бабулька, дедулька, кто будет ему гранит или мрамор за косарь зелёных ставить? Тут население нищее, по карману только бетон за пять, максимум семь тысяч рублей, ну, с оградкой, цоколем, балясинами и всей хуйнёй – десять тысяч. А скульптурные выебоны типа скорбящего ангела спросом не пользуются. Обычная плита, крест и фотоовал. Вот у меня от старого “Рек-виема” осталось заготовок гранитных штук тридцать, и за год шесть всего ушло! Место только занимают...

– А ты как называешься?

– Тоже “Реквием”... – Никита нащупал в подлокотном бардачке пачку сигарет. – Ну, чтоб путаницы не возникло, все ж привыкли, адрес, название. Но раньше было “ООО”, а я ИП открыл. Это был бы гемор целый: входить в совет учредителей, потом чтоб тот выходил из совета, то-сё... С ИП проще по налогам и с бухгалтерией. Закрывать легко, если чё, ну и штрафы поменьше... – Он взялся зубами за фильтр, вытащил сигарету. – А Валерка Сёмин – он из Красноармейска. Мы в одной школе учились, только он на год младше. Вместе в “Антее” тренировались. Клуб гиревой... – усмехнулся. – В Красноармейске, кроме него, никаких юношеских секций не было. Ну, разве что шахматы. Я бурсу закончил с первым разрядом по гиревому спорту. Я почему поменьше тебя ростом – позвоночник гирями посадил... – он выдернул прикуриватель. – Городочек реально маленький, Красноармейск. До перестройки сколько там жило? Тысяч сорок. Но поверь на слово, когда мы на праздники выезжали в Москву пробздеться, то, я тебе скажу, и долгопруднинские, и люберецкие конкретно подсывали с нами пиздиться... Куда?! Куда, овца, блять?! – неожиданно взревел Никита, грохнул кулаком по рулю, яростно просигналил вильнувшей справа малолитражке. – Понакупают тварям машин, а водить не обучат!.. – Никита полминуты свирепо дышал табаком. – О чём я говорил?

– Подсывали с вами драться, – подсказал я. – Люберецкие.

– Не... Про другое... В общем, эти из “Реквиема” тык-мык со своим гранитом. А никак! Попробовали на Москву работать, а там своего говна хватает. И чё делать? Решили перейти на бетон. Но ведь так нельзя, если по-людски рассудить. Вы ж, типа, заняли нишу с камнем, а человек рядом работает по бетону, бизнес раскрутил. То есть надо договариваться. В общем,

возникла ситуация. Валеру стали прессовать, я подключился, братву подтянул... Ну, Шаповалов был мягкий, по ходу, а Гликман, тот реально приложил максимум усилий, чтоб Кобзон ему про журавлей на похоронах спел!.. – Никита ненатурально, как киношный самурай, захохотал.

Я сдержанно улыбнулся торжеству брата.

– В общем, сейчас всё ровно... – сказал Никита.

Старый город резко закончился, начались улицы из панельных коробок.

Встали на светофоре.

– Элитные корпуса. Монолит... – Никита указал на чёрные строящиеся высотки. – Там себе хату в следующем году буду брать... Давай, бля, уже! – он бибикнул машине спереди. – Чего я тебе это всё рассказываю... Алинка тоже любительница попиздеть про инновации, новые материалы: литевой мрамор, полимергранит. Но самым ходовым материалом для провинции был и останется бетон. Поэтому тебя и позвал. Ты ж после стройбата в сортах бетона шаришь?

– В смысле, в сортах?

– Ну, я неправильно, может, выразился! Марки бетона! Двухсотый, трёхсотый, шестисотый! Как у “мерсов”! Чем они отличаются, понимаешь?

– Составом отличаются, рабочими характеристиками... Никит, я ж на нулевых циклах работал, у нас была разве подложка под фундамент, просто размазня такая, цемент с крупным песком...

– Портланд, блять, бетон! Пятисотый! Тебе это что-то говорит?!

Было видно, что Никита раздражён, но старается не дать волю характеру.

– Это что же получается, я больше тебя в этом вопросе шарю? – Он поиграл презрительным желваком.

Я тоже разозлился, но ответил спокойно:

– Если чё, Никит, ты сейчас конкретно про вид цемента говоришь. – Я заметил, что, как и брат, цежу и плющу слова. – Бетон – это смесь! Когда замешали цемент с песком и наполнителем, то есть гравием, там, щебёнкой, не знаю каким шлаком, галькой. А качество бетона напрямую зависит от марки используемого цемента, его свежести, пропорции замеса. Бетон-то может быть хоть четырёхсотой марки, хоть сотой, но для его приготовления можно использовать пятисотый портландцемент! Всё же от его количества зависит...

Никита смутился:

– Ну, я это и имел в виду... Пятисотый – что означает?

– Что застывшая смесь выдерживает давление пятьсот килограммов на кубический сантиметр. Но это условно, конечно.

– Ну да, всё верно... – Никита покосился извиняющимся, лукавым глазом. – Крендель из мастерской берёт пятисотый портландцемент. Это лучший вариант – пятисотый?

– Не знаю, Никит. Там же наверняка особая технология.

Он перебил:

– Шестисотый портландцемент лучше пятисотого?

– От назначения зависит. Готовим мы штукатурную смесь, монтажно-укладочную или для заливки фундамента...

– А четырёхсотый намного хуже?

– Да не хуже. Я ж говорю, смотря какая задача. У любого прораба есть нормативные таблицы, там всё указано: марки, пропорции, оптимальные фракции щебня или песка...

– Во-во, фракции! – Никита бурно обрадовался. – Они самые!.. Так ты все термины знаешь, Володька, а зачем-то притворяешься неучем и расстраиваешь старшего брата! Фракция – это что?

– Крупность песка или щебня. Но для памятников явно другой наполнитель используется, не щебень.

– Мучка гранитная! – весело подтвердил Никита. – Совсем маленькая такая хуета... Эй, – подмигнул, – чего скуксился? Обиделся, что ли?

– Нет, просто мне показалось... – тоном оскорблённого достоинства начал я, но Никита уже не слушал меня.

– Заправиться надо... – он резко свернул к заправке “ЛУКойла”. – Познакомишься завтра с Шервицем. Мастер толковый, но залупа та ещё! Нихуя нормально не объясняет. Вот он говорил, что готовое изделие соответствует чуть ли не девятисотой марке бетона. Но сам подумай: марка, блять, девятисотая, а использует пятисотый цемент! Наёбывает?

– Может, и нет. Добавки улучшающие бывают, стабилизаторы, пластификаторы всякие...

– Вот и разберёшься, – Никита похлопал меня по плечу, – что и как!

– Не знаю...

– Разберёшься. Посиди, я быстро!

Пока Никита расплачивался за бензин, я хмуро размышлял, что мой брат не подарок в общении. Оставалось лишь догадываться, как он разговаривает с обычными подчинёнными. Кроме того, не особо вдохновляла и подоплёка, из-за которой Никита вызвал меня в Загорск. Ему, оказывается, был нужен не близкий родственник на подхвате, а компетентный соглядатай в мастерскую.

– Держи! – Никита протягивал мне деньги.

Я ещё не видел до того пяти тысячных банкнот. Машинально взял их – две нежно-кирпичного цвета пятёрки.

– Это что-то вроде аванса, – пояснил Никита. – Остальные пятнадцать через пару дней. Чего смотришь? Ну, тысяча баксов, зарплата твоя, как и обещал. Нормальные бабки, разве нет?..

Я сунул деньги в карман. Не то чтобы они меня успокоили, но я как-то приободрился и отогнал грустные мысли по поводу вздорного нрава брата.

– А я тебе говорил, – Никита вырулил на дорогу, – кто я по образованию? Не? Инженер-озеленитель!

– Ты учился?!

Я испытал лёгкий укол зависти – получалось, мой простецкого вида брат закончил вуз.

– Московский лесотехнический! Га-а-а!.. – Никита захохотал, будто сказал что-то смешное. – Только он не в Москве, а в Мытищах! Целая эпопея была, как я туда поступал... А вступительные как сдавал! – Он затряс головой. – Я ж после армии забыл всё что можно. А у меня восьмилетка и три года бурсы, ну, в смысле, ПТУ – сам понимаешь, какой уровень подготовки. Я в Средней Азии служил, русских в казарме было пять человек на сто чурбанов. Махач после каждого отбоя. Два сотрясения мозга! Как думаешь, чего я такой и с полпинка завожусь? От этого, – он покивал, – башка вся отбитая... Так прикинь, матушка на каждый экзамен приезжала в институт, сидела там, ждала, – голос Никиты оттаял, потеплел. – Помню, ливень закончился, я выхожу из аудитории, а мамахен в коридоре – примостилась возле подоконника, и на ногах полиэтиленовые пакеты, прихваченные резинками, чтоб туфли не промокли. Мне, помню, так стыдно перед остальными сделалось, я наорал на неё при всех: “Ты, бля, дура старая, хуле припёрлась?!” Она, реально, как в “Форресте Гампе”, ко всем преподам подходила, за меня просила. Очень хотела, чтоб я образование получил... Я тебя потом познакомлю с ней, она в Красноармейске живёт, учительница младших классов. Педагогический заканчивала, а батя наш тогда в Бауманке учился... – он вздохнул. – Потрепал я ей нервы... Это когда я первый раз сел?.. В восемьдесят девятом, на четвёртом курсе. За хулиганство. Дали два года, вышел по досрочке. Потом на заочном доучивался. А ты, получается, совсем маленький был...

Я понимал, что воспоминание о материнских туфлях, которым брат поделился со мной, уж точно не предназначалось для посторонних ушей. Он определённо воспринимал меня как родного человека, приобщая к своему прошлому.

– Приехали почти, – сказал Никита.

Фары джипа высвечивали унылые серые профили панельных хрущёвок, тусклую витрину продуктового магазина, облетевшие деревья, блестящие от мокрой грязи тротуары. Над пристройкой первого этажа одного из домов пылало красным неоновым капслоком “САЛО КРАСОТЫ” с перегоревшей “Н”.

– Ты на Алинку, если чё, не обижайся, она не сильно гостеприимная, – предупредил Никита. – Фирму собираемся открывать, она вторую неделю с уставом дрочится. Устала... Да и я внимания ей мало уделяю, ну, ты понял. Тёлка молодая, а я, – добавил он с грубоватой развязностью, – в последний раз, скажем честно, на троечку поебался. Надо исправлять...

Никита дважды объехал вокруг дома, выискивая место для парковки. Обратил моё внимание на большую ветку, лежавшую чёрной, разлапистой корягой на газоне:

– Неделю назад ветер был сильный, на “ниссанчик” соседский приземлилась... А вот здесь нормально, без зелёных, блять, насаждений. Ну, добрались, братик...

После прогретого салона улица показалась холодной и отсыревшей. Пахло гниющей листвой, землёй и глиной, словно где-то недалеко рыли котлован.

Дом был девятиэтажным, позднесоветских времён, но выглядел намного лучше соседних низкорослых панелек.

– Твоя квартира или снимаешь? – спросил я, вытаскивая сумку.

– Моя, – сказал равнодушно Никита. – Продавать скоро буду. Район старый, никакой инфраструктуры. Просто недалеко до мастерской. Здесь домофон. Запоминай код: тридцать семь, ключ, девяносто два, семьдесят четыре...

Подъезд пахивал.

– Из-за этого мусоропровода, блять, – ворчал Никита, проверяя почтовый ящик, – пасёт говном и помойкой!..

Вызвали лифт. Первым прибыл грузовой – со стенами из голубого пластика и одинокой надписью “*Call of Duty*”, сделанной зелёным маркером. На полу валялись затоптанные рекламные листовки – доставка пиццы. Кнопка четвёртого этажа, в которую Никита ткнул пальцем, была чуть оплавлена зажигалкой и похожа на большой нездоровый зуб.

Я очень волновался, как воспримет моё появление Алина? Искренне обрадуется: “Володя, привет! Как добрался?”, будет приветлива или вежливо равнодушна?

Мы зашли в тамбур, заставленный коробками из-под бытовой техники. Никитина дверь была новая, стальная. Брат открыл её, с порога позвал Алину, затем чуть посторонился, чтобы я тоже смог зайти. Я на всякий случай не снимал сумку с плеча, ожидая что Никита сам укажет место для неё. Не хватало ещё получить от него замечание в присутствии Алины, мол, куда ставишь?

Она появилась – босая, в домашней футболке и каких-то смешных, с попугаями, шортах. В ненакрашенных пухлых губах сигарета.

И без косметики Алина была умопомрачительно хороша – бледная, утомлённая красота в табачном облачке. Потрясённый, я даже забыл улыбнуться ей, как собирался.

– Вот нахуя ты в хате куришь? – злым голосом сказал Никита. – Балкона мало?

Я даже не понял, заметила ли меня Алина. Она смотрела только на Никиту – холодным, безлюбным взглядом. Затем выдохнула ноздрями дым, развернулась и ушла обратно в комнату. Хлопнула дверь.

– Тварь!.. – Никита в тихом бешенстве скинул туфли. Свистяще выговорил: – Ты, Володька, пока располагайся... – и исчез вслед за Алиной.

Я поставил на пол сумку, но почему-то уверенности, что можно снять куртку и расшнуровать кроссовки, у меня не возникло.

Пол в прихожей выложили светлой плиткой, шершавой, похожей на тёсаный камень. Матово-чёрные стены не выглядели мрачными, наверное, за счёт ярких картинок на стенах – изображения Алины, обработанные для пущей кислотности в фотошопе. Также добавляла радостных красок Алинина верхняя одежда на вешалке, разноцветная каблукастая обувь – туфли, сапожки...

– Лучше бы пожрать сделала!.. – долетел из комнаты первый окрик Никиты. Потом второй, третий: – Сколько надо, столько и будет жить! Хоть неделю, хоть две, блять!..

Сердце моё сорвалось вниз, вдребезги на плиты – как соскользнувшая с блюдца чашка. От навалившейся слабости я даже привалился спиной к двери. Алина не просто не ждала меня, она была раздражена моим появлением!

Вернулся перекошенный от ругани Никита:

– Чего не разуваешься?

Я спросил тихо:

– Что там у тебя? Недовольна?

– Да не обращай внимания! – он махнул рукой. – У нас такое каждый день... Голодный? Пойдём на кухню, сожрём чё-нить. Колбаса есть, сыр, пельмени вроде были.

– Красиво у тебя, – искренне похвалил я квартиру. – Я тут привёз... – достал из сумки бутылку “Метаксы” и глупые, с бантиком на коробке, конфеты.

Никита уделил полсекунды коньячной этикетке, и я, в очередной раз запывав ушами, подумал, что такие пять звёзд брат, пожалуй, не пьёт...

Кухня выглядела точно картинка из мебельного каталога: малахитового цвета пол, как бы антикварные шкафы, широкая двойная мойка с медным, под старину, смесителем.

– Да я к этому отношения не имею, – Никита рылся в огромном двухметровом холодильнике, доставал продукты. – Алинка ремонтом заморачивалась. В ванной за каким-то хуем джакузи поставили, а оно всё равно не работает! То напора нет, то вода грязная, с песком, засоряет массажные эти форсунки сраные. Вот буду через год хату продавать. Одна кухня в семь тысяч баксов влетела – не отбить, считай, никогда!..

Я без аппетита поглощал всё, чем угощал Никита, стараясь не показывать моего опрокинутого состояния.

После ужина Никита отвёл меня в гостиную – ночевать. Алина за это время так и не выглянула из своего кабинета. Никита принёс комплект белья и чистое полотенце. Я украдкой принял душ, потом, прижимая к груди штаны, футболку и носки, прошмыгнул по коридору в гостиную. Никита говорил, что диван раскладывается, но я, полный отчаяния, не хотел даже минимального комфорта, решил спать на одной половине.

Наволочка и простыня пахли чужой, посторонней свежестью. Я ворочался и думал, что так мне, дураку, и надо. Было очень стыдно. За себя, за глупые надежды: “Велкам ту Загорск! Сто вёрст не крюк!..”

Но только я успокоился, переключился с эмоционального бега на шаг: “В понедельник утром поеду в Рыбинск”, – как меня точно плетью огрела мысль о деньгах, которые я взял у Никиты.

Я чуть не взвыл от досады. Вот зачем брал?! Вернуть Никите его десять тысяч и сказать: “Передумал” – я не мог. Не хотелось выглядеть в глазах брата несерьёзным малолетним придурком.

Выход был один – честно отработать полученные деньги, а потом уже убраться в Рыбинск. С этим решением я кое-как заснул.

Спал я плохо, дважды вставал – в туалет. Проходя мимо спальни, случайно подслушал, как Никита исправляет свой постельный “трояк”, и, судя по скрипам матраса и вздохам, делал он это вполне успешно.

Я приказал себе больше не думать о глупостях, но в груди долго ещё шуровала болезненная стамеска – ковыряла, взламывала...

Утро оказалось мудренее вечера. Алина больше не играла в затворницу, даже вышла к завтраку и была в целом куда приветливей. Предложила мне кофе и сэндвичи, спросила, как спалось. Я цепко держался за вчерашнюю обиду, отвечал подчёркнуто учтиво.

Алина сразу поняла, что я сознательно отмалчиваюсь, включила в подвесном маленьком телевизоре *MTV* и села править маникюр. Скребущие, монотонные звуки пилочки, казалось, обрабатывали не её ногти, а мою раненную вчерашним приёмом душу.

Никита расхаживал по квартире в одних трусах. Выглядел брат хоть и обрюзгшим, но очень мощным, как крупный обезьяний самец, проведший жизнь в сытном заточении. Даже увесистый живот, давно потерявший рельеф, смотрелся не жирным, а мышечно-мясистым.

Никита был в приподнятом настроении. Общаясь с кем-то по телефону, радостно громыхал из коридора:

– Чё, Стёпа, дилемма, блять?! Гамлетовская?! Вилкой в глаз или в жопу раз?!

За стол он так и не сел. Заходил то и дело на кухню, цепляя вилкой лоскуток яичницы, пальцами хватал с тарелки колбасу, сыр, маринованные огурцы. С Алиной был ласков. Сложив губы дудкой, целовал то в шею, то в ухо. Говорил при этом:

– Печать силы!.. Печать тьмы!.. Печать света!..

Она морщилась, уворачивалась:

– Ну щекотно же!.. Хватит, кому говорю! – Даже ко мне обращалась за помощью: – Володя, ну скажи ему, чтоб перестал!..

Новый день начинался солнечно, и горечь помаленьку таяла. К концу завтрака я и сам не понимал, чего так расстроился. Ведь какая-то здравая часть меня и раньше предупреждала, что я на пустом месте навоображал себе какую-то любовную интригу, обоюдное влечение. Мало того, что эти фантазии отнюдь не делали мне чести, – за юношескую придурь предстояло рассчитаться месяцем работы. Но если кто и был виноват, что поездка превратилась в басню с моралью, то исключительно Владимир Кротышев собственной персоной.

Одеваясь, Никита напевал:

– С чего начинается Родина, с картинки в твоём букваре!.. С историй про эльфов и хоббитов, живущих в соседней норе!..

Ради последней шутилки строчки он забежал на кухню и мурлыкнул про нору. Алина нежно рассмеялась, и я понял, что Никита пел не просто от нечего делать, а с намерением угодить своей женщине, развеселить...

Никита оделся, и я пошёл в гостиную забрать толстовку с капюшоном, которую с вечера положил поверх оружейного сейфа – чего-то постеснялся повесить на подлокотник красивого кожаного кресла.

В прихожей Никита зашнуровывал увесистые ботинки, отдалённо напоминающие пару игрушечных “лендроверов”. Босая Алина стояла рядом и зачитывала вслух с экрана ноутбука:

– Повсеместно насаждаемая коммерциализация системы похоронного обслуживания не соответствует практике развитых европейских стран. Ритуальный сервис в пределах минимальных социальных стандартов должен быть по возможности бесплатным или же иметь строго фиксированный ценник на все сопутствующие товары, как то...

– Стоп, стоп, – поднял голову Никита. – Меня только на эту благотворительность не подписывай, ладно?

– Тебе из бюджета башляют, – терпеливо пояснила Алина. – И ещё дополнительно благодарный клиент! Фиксированный ценник! И, кроме прочего, это гарантированный сбыт!

– А-а, – потянул Никита и снова уткнулся взглядом в шнуры. – Злиться только не надо. Объясняй нормально!.. А Кудáшев? В чём его профит?

– Это же социальная программа, он под неё берёт городские средства. А ты ему тоже заплатишь. За то, что он у тебя весь твой бетон скупит!

– Солнышко, – Никита закончил с ботинками, поднялся. – Так у меня проблем со сбытом нет! У Валеры тоже всё пучком!

– Включи мозг! – повысила голос Алина. – Ты вперёд хоть на два шага просчитать можешь? Тебя перспектива интересует? Развитие?!

Тут я на всякий случай кашлянул. Алина замолчала.

Я быстро натянул кроссовки, снял с вешалки бомбер. Алина, закрыв ноутбук, вдруг обратилась ко мне:

– Володя, знаешь, тебе ужасно не идут очки! Глаза красивые, а в очках взгляд получается стеклянный и заторможенный, как... – она поискала слова, – у очень близорукого киллера. Ну зачем это?

Никита облегчённо засмеялся. Наверное, потому, что разговор переключился на меня:

– Теперь и за тебя, братик, принялась. И что ты ему предлагаешь? – спросил у Алины. – Лазерную коррекцию сделать?

– Ну, хотя бы линзы контактные пусть носит. Всё лучше будет...

– Я обдумую ваш дружеский совет, – сухо сказал я.

Не то чтобы я обиделся. В Алиных словах не звучало критики или издёвки. Она и Никиту правила под свой вкус, и нужно признать, что он от этого только выигрывал.

– Знаешь, Володька, может, они и не помешали бы, линзы, – сказал Никита. – Но в мастерской пыль столбом, цемент этот.

– Нужно очки защитные надевать, – сказала Алина. – Линзы – оптимальное решение.

Никита озорно глянул на Алину и, пританцовывая головой, спел:

– Как за меня матушка всё просила Яхву!.. – Потянулся губами к её щеке. – Всё поклоны била! Целовала Ге!.. Ксаграмму... Выпала, ой дорога нахуй...

Но Алина в этот раз не развеселилась, а поморщилась:

– Никит, придумай что-то новое. И вообще, валите уже! Надоели...

Ничуть не обескураженный Никита чмокнул Алину, потом резко, как затвор, двинул дверной засов. Я кивнул и сказал предельно равнодушно:

– Ну, давай, до вечера... – и сразу отвернулся, шагнул вслед за идущим через тамбур Никитой.

На солнце подмокшие панельки смотрелись не так пасмурно. Да и весь микрорайон казался знакомым, почти родным: серые, как мыши, пятиэтажки, деревья в облетевшей ржавчине, такие же рыжие газоны с кочками жухлой травы. Небо было прозрачным и синим, а медленные облака напоминали гигантские кроличьи хвосты.

Мы выехали из дворов на длинную улицу, прямую, словно взлётная полоса. Людей не было, как и встречных машин, разве что пронеслась пятнистая от грязи фура, и по одной из обочин мелькнула разорённая легковушка – железный остов без колёс и стёкол.

– Просёк, о чём у нас разговор шёл? – спросил Никита.

– Какой разговор? – я отвлёкся от дорожного пейзажа и посмотрел на брата. – С кем?

– Ну, Алинка в коридоре читала, а я, типа, не въезжал. Только я, как ты догадываешься, всё охуенно понимаю, лучше многих...

– Что за доклад?

– Алинка второй год пашет в местной администрации... УВБ – управление внешнего благоустройства. Помощник начальника управления и секретарь. Главный там Кудя, Кудашев Юрий Соломонович... Х-хе, – Никита хмыкнул, – он вообще-то Семёнович, но, блять, хватка в натуре, как у Соломоновича. Ну, и ебальник, честно говоря, тоже. Он по совместительству замглавы администрации – не последний в городе человек. Под УВБ кроме благоустройства находится и ритуалка, в смысле, все вопросы по организации похоронных услуг, эвакуация трупов. Врубаетесь, сколько бабла там крутится? Содержание и санитарный контроль кладбищ, ремонт, реконструкция... Это для Куды Алинка доклад сочинила, а он где-то перед пресой его с умным видом зачитает...

Я слушал Никиту вполуха. Суть проблемы я уловил, и хоть слово “откат” не прозвучало, было ясно, что речь идёт о мелкой коррупционной схеме, судя по всему, даже не подсудной.

– Я просто давно не ведушь на тёрки про взаимную выгоду. У них в администрации все такие, – Никита поморщился. – Ебём друг дружку и деньги в кружку. Они просто свой процент со всех городских похоронных бизнесов иметь хотят, а делают вид, что пришли с одолжением. Только это им выгодно, а мне нет. Но категорично отказываться нельзя, потому что тупо начнут мешать. Рычаги у них имеются: налоговая, пожарные, санитарный надзор...

Подъехали к круговому перекрёстку. В центре его голой клумбы возвышался постамент с Т-34 ядовито-бирюзового цвета, будто танк окатили зелёнкой. Местами сквозь свежую покраску пробивался старый защитный оттенок, от чего танк выглядел больным и каким-то лишайным.

– Ну вот, блять, как это? – возмутился Никита. – Дороги убогие, танк нормально покрасить не могут! Благоустроители, ёпт!..

Никита свернул в небольшую, подсобного вида улочку, состоящую из тянущихся блочных заборов, технических малоэтажных построек, с тетрисом разрухи на облицованных белой плиткой стенах.

– Вот тут и находимся, – сказал Никита. – Улица Супруна. Видишь, быстро доехали. От дома если идти, минут пятнадцать максимум...

– А для посетителей не далековато? – спросил я. – Как клиентура добирается?

– Нормально, – успокоил Никита. – Маршрутка рядом бегаёт. А следующая остановка, между прочим, кладбище – то, которое Новое. Хотя оно относительно новое, с середины восьмидесятых открыли. Но ты прав, Володька, нужна контора в центре, хотя люди по-любому приедут сюда посмотреть, пощупать...

Мы остановились перед железными, окрашенными в облезло-голубой цвет воротами. Одна створка была открыта. Никита вылез из машины, толкнул, с силой потянул за собой вторую. Понукаемая створка взяла неожиданно высокую и пронзительно-ржавую ноту.

Он заехал, а я прошёл внутрь через основной вход, похожий на двухметровый саркофаг – бетонная полуарка и две ступеньки. На двери висела большая табличка “ООО «РЕКВИЕМ»”, и чуть помельче: “Изготовление всех видов памятников”.

Первым бросалось в глаза маленькое кладбище, состоящее из образцов Никитиной продукции. Выставочный фальшивый погост на три или больше десятка надгробий компактно расположился вдоль забора примерно на сотке дворовой земли: всевозможные виды стел – прямоугольные, усечённой треугольной формы, овальные, похожие на чёрные зеркала трюмо, кресты, скорбящие фигуры, цветники, цоколи...

Могилы выстроились в два или три ряда между прижатой к забору одноэтажной постройкой и навесом на железных сваях. Там стояли синяя тонированная “девятка”, белый “гольф” тройка с жёваным крылом и новенькая красная “мазда”.

Справа от навеса находился гаражный бокс, возрастное кирпичное сооружение с двумя въездами. Правые ворота были приоткрыты, одну половинку подпирала гидравлическая тележка с деревянным поддоном на оббитых вилах.

Ямы и выбоины в асфальте были присыпаны гравием. На бетонированной заплатке радужными павлиньими перьями переливались подтёки бензина. Первый же порыв ветра бросил мне под ноги мутные лохмотья полиэтилена, испачканные цементным раствором. Окружили знакомые запахи – солярка, битум, сырой, с отхожим душком песок, окислившееся железо.

– В бытовке, – Никита указал на сплюснутый одноэтажный домик, – думали офис сделать, но сам видишь, выглядит несолидно. Там щас Фаргат живёт... – Никита набрал в лёгкие воздуха и заорал: – Фаргат! Где шароёбишься?!

На крик с отчаянным лаем из ниоткуда выкатился кудлатый, беспородный пёс.

– Вот я! – ответили за нашими спинами. – Ворота закрываю...

Фаргат предсказуемо оказался азиатом, но без ярко выраженного востока. Он больше походил на обрусевшего индейца – взрослый человек с кротким, подростковым выражением лица. На стороже были чёрный пуховик, капюшон которого он накинул на голову, и синяя строительная роба.

Фаргат чуть слышно отдал какой-то шипящий пастуший приказ, и пёс, вмиг угомонившись, потрусил прочь.

– Я услышал... Вы подъехали, – проговорил Фаргат с мягким базарным акцентом. – Пошёл закрыть.

Он и дальше говорил короткими, из двух-трёх слов, предложениями, наверное, чтобы не напутать со смыслом.

– Добрый день... Никита Сергеевич...

– Фаргат, хуле грязь повсюду? – Никита с недовольной миной сначала шаркнул по полиэтилену, затем поддел его ботинком. – Свинарник развели! Люди придут, что подумают?

Фаргат наклонился, подобрал полиэтилен и скомкал.

– Всё чисто! Вчера убирал! – и показал на чёрные мусорные мешки, стоящие рядом возле торца бытовки.

– Ну, так ещё подмети! Нужно каждый раз задание давать? Сам не можешь догадаться? Что, блять, за советский менталитет?! Вон, – кивнул на плиты выставочного кладбища, – опять хуйня эта белая повystупала, памятники как обдроченные выглядят или будто птицы обосрали. Тряпку бы взял и вытер!

– Это высол, – мягко пояснил Фаргат. – Как убрать?

– Ка́ком кверху! Очистителем! – Никита повернулся ко мне. – Вот так и работаем, Володька! Прикинь, он и собаку испортил, ни хуя уже по-русски не понимает, только узбекский. Ты его как зовёшь, Фаргат?

– Мечкай, – ласково сказал Фаргат. – Потому что кушать любит...

– А это брат мой младший, – Никита указал на меня. – Владимир Сергеевич. Будет вам пиздянок давать, чтоб не вольнили! Понял?

– Понял, – Фаргат улыбнулся уже персонально мне. – Здравствуйте.

Я кивнул ему и пожал протянутую руку.

– Шервиц в цеху? – спросил Никита. – А Дуда тоже там? Клиенты были?

– В цеху, – подтвердил Фаргат. – Работают... Заходили...

Никита проводил узбека помещичьим взглядом:

– В принципе, нормальный чурек, работающий. А эти два хохла из Винницкой области уж такие скользкие! Шервиц – конкретно хитрожопый, Дуда – попроще...

Здание бокса, наверное, построили сразу после войны. На потемневшем от времени кирпичном фронте прямо над входом красовалась вышелушенная мозаика с серпом и молотом. На пороге я оглянулся и увидел, как послушный Фаргат спускался по ступеням бытовки с тряпкой и ведром.

В бывшем гараже табачный дух мешался с запахами пыли, цемента, краски, какой-то едва уловимой химии. Кроме этого тянуло подвалом и крысиным помётом. Изнутри помещение разделяла достроенная позже кирпичная перегородка. Она шла поверх заделанной ремонтной ямы и где-то на треть не доходила до задней стены гаража, а образовавшийся проём закрывал исполосованный на ленты полиэтиленовый занавес. Оттуда доносился то назойливый звон болгарки, то невнятный диалог. Голоса нас не слышали из-за радиоприёмника – в динамике заливалась певчая бабёнка: “Коламбия пикчерз не представляет! Как хорошо мне с тобою бывает!..”

Бетонный пол выглядел старым и шербатым. Попадались странного происхождения круглые выбоины, будто кто-то ронял тут двухпудовые арбузы. А вот стены, судя по всему, недавно обновили ненавязчивым бежевым цветом. Естественного освещения не хватало – под крышей виднелись крошечные, больше похожие на отдушины, окошки. Но зато в избытке имелись plafоны – так что гараж буквально заливало светом.

Вообще, рабочее пространство оборудовали очень толково. Вдоль одной из стен располагались сразу три крепких верстака. К стене в удобном шахматном порядке крепились рейки с инструментами. Под каждым верстаком был обогреватель и деревянный поддон, чтобы работать на досках, а не студить почки от холодного покрытия. В стеллажах громоздились коробки, пакеты, канистры с растворителями.

Центр зала занимал массивный, размером два на полтора метра, стол на металлической станине. В подбрюшье под столешницей торчал мотор, напоминающий увесистое вымя, отчего стол выглядел как обезглавленная корова-робот.

В дальнем углу оранжевые, точно заляпанные раствором мортиры, стояли две бетономешалки с баками разных объёмов, рядом с ними крашенный зелёным жёстяной короб вибросита на железных ножках, шеренга мешков с цементом, песком, несколько оцинкованных вёдер. Валялись два увесистых мотка стальной катанки, совковая лопата, дрель с насадкой, как на кухонном миксере...

Я не сразу сообразил, что причудливые корыта, сложенные на полках, прислонённые к стене, – это формы для отливки памятников: прямоугольники или полуовалы с барельефом креста, свечей или ангела. Специально подошёл поближе, чтобы рассмотреть и потрогать. Одни были увесистые и плотные, почти как акриловые ванны, другие из совсем тонкого пластика мутно-зелёного, потустороннего цвета. Там же были и формы для тумб, цоколей, балясин и цветников.

У меня когда-то в детстве имелся брелок-скелетик, который фосфоресцировал в полной темноте, и я подумал, что если бы эти формы светились, то ночевать в мастерской было бы страшновато.

Никита со всего маху наступил на оторванный завиток могильного креста, хрустнувший под его ботинком. Сам крест валялся рядом пустым объёмом.

– Бляди рукожопые, – Никита поднял двумя пальцами полый крест со следами раствора, и я увидел, что форма треснула ещё в нескольких местах. – Только ж две недели назад заказывал, – мрачно прибавил и бросил крест на пол.

Я заметил пушистую крысу. Она почему-то не бежала, а ковыляла, как инвалид, подтягивающий вслед за туловищем парализованные задние конечности. Крыса подняла длинные уши, и я догадался, что это кролик.

– Живёт тут, – пояснил Никита. – Алинкин. Не знала, как избежать, вначале Роджером назвала, после Борхесом. В доме невозможно держать было, у меня на шерсть аллергия. Отдали сюда...

Никита размашисто, словно перекрывал недругу кислород, выключил радиоприёмник. Сделалось относительно тихо. Только из соседнего помещения доносился ритмичный перестук металла по камню, точно несколько птиц клевали корм на очень гладкой и прочной до звона плите. Потом голос произнёс:

– А коцка реально была манюсенькая. Царапулька. Но пиздежа, будто я не знаю...

Взвизгнула и умолкла “болгарка”. Никита резко раскинул ленты занавеса и шагнул во второе помещение. Я следом за ним.

Вместо приветствия брат сказал:

– Два людей, ноль блядей!

Я ожидал увидеть прожжённых, зрелого возраста мастеровых с эдакой трудовой хитринкой или, как говаривал Лёша Купреинов, “наёбинкой” в глазах. Но эти двое выглядели молодо – лет на двадцать пять.

У чернявого парня под пухлым подбородком болтался напоминающий чашку лифчика респиратор; защитные очки надеты поверх бейсболки, повёрнутой козырьком назад, так что ко вспотевшему лбу прилипли смоляные завитки. На нём был пыльный, цвета выцветших чернил комбинезон. Закатанные рукава фуфайки открывали неожиданно мощные предплечья. Маленькие, близко посаженные глазки смотрели обиженно и полусонно.

На рабочем столе лежал цветник – прямоугольная бетонная рама. До нашего появления чернявый, очевидно, обрабатывал фаски полировальным кругом. Форма от цветника валялась на полу.

Метрах в пяти на корточках сидел второй парень. Перед ним на листе ДСП, прикрытом ветошью, покоилась зеркально-чёрная стела. По благородному блеску я предположил, что это гранит. Похожие плиты количеством около двух дюжин стояли неподалеку на сварном длинном стенде – каменный запас, о котором рассказывал Никита.

Стелу дополнительно освещала лампа, рядом бликовал фотопортрет пожилого мужчины в военно-морской форме. Абрис этого же лица находился на стеле: резкие, остро выцарапанные контуры.

Парень отложил в сторону свой инструмент – что-то вроде пучка стальных игл. Поднялся, тщательно пригладил взмокшие, песочного оттенка вихры. Среднего роста, худощавый, очень жилистый. С костлявым носом и круглыми, чуть нависающими, голубыми глазами. Лямки комбинезона спущены, на майке спереди проступила влажная полоса.

– Шервиц, отгадай загадку, – сказал Никита. – Весь в муке и хуй в руке!

Чернявый отряхнул бейсболкой запыхлённые штанины, проямлил:

– Глупости какие-то...

– Мельник дронит, – благодушно подсказал Никита и засмеялся. Потом обратился ко второму парню: – Портрет Битюцким делаешь? Отдублились они с эпитафией?

– Ага... Рожденье – не начало, смерть – не конец.

Возле железных ворот на поддонах лежали уже готовые изделия: плиты, кресты, тумбы и приземистые, похожие на парковые шахматы балясины для цоколей. Четверть помещения отделяла пластиковая штора. За ней виднелись кирпичная стена и двухъярусные нары.

– Братан младший, – представил меня Никита, когда Шервиц подошёл поздороваться. Перчатку он не снял, просто протянул липкое от пота, обросшее чёрным волосом предплечье. – В отличие от вас, пездюков, от армии Володька не косил, а честно отдал долг Родине. Сержант морской строительной пехоты! Так, братик?!

Я вымученно улыбнулся:

– Перестань, Никит... Я в стройбате служил. И считаю, что это личное дело каждого, косить или служить. Я, если б мог, тоже бы откосил.

– Хотя у вас же не Родина теперь, – балагурил Никита, – а нэнька-хуенька, блять...

Я не перебивал его, про себя негодуя, что все эти неуместные шуточки заранее настроят парней против меня.

– А где каталог? Покажите ему, чтоб человек понимал, что производим.

Отыскался отнюдь не типографский буклет, а старотипный, в цветастой обложке, альбом под фотографии размером десять на пятнадцать. Похожие стояли на полке у матери, куда она собирала взросление Прохора, отпуск в Турции...

Пока Никита несколько минут выспрашивал у Шервица о заказах, я быстро пролистал два десятка страниц. Там в целлофановых карманах хранился каталог памятников. Снимки отличало любительское качество. Почти везде на чёрной полировке отражалась белой звездой вспышка, и даже у лиц на овалах мерещились красные глаза. Оранжевые циферки внизу каждой фотографии подтвердили мою догадку, что снимали на плёночную мыльницу – в конце девяностых.

– Тринадцать вертикалочек, – Шервиц листал туда-обратно мятую страничку ежедневника. – Три дверцы, две льдинки, пять крестов, два купола, один нолик... Так... И шесть горизонталок, семейники: три книжки, три лифчика...

– Итого девятнадцать, – Никита достал телефон, принялся что-то вычислять.

– Ещё гранитная доска для Битюцких, – добавил гравировщик.

– Маловато... – досадливо цыкнул Никита. – И за вторую половину октября всего-то девять клиентов. Плохо работаем...

– Спасибо, шо так, – Шервиц безразлично пожал плечами.

– Ну да... – Никита поскрёб подбородок. – Сайт надо наконец нормальный замутить! И скидки предлагать, рассрочки всякие... Чуть не забыл! – Никита хлопнул себя по лбу. – Шервиц, чё за хуйня?! Крест испортили! Не своё – не жалко? Я просто из зарплаты один раз удержу у вас за порчу, блять, имущества!

– Да при чём тут своё – не своё! – звонко огрызнулся Шервиц. – Шо я могу сделать?! Порвалось, потому шо сделано из говна! Бетон распёр, она в углах и полопалась!

Шервиц наклонился, вытащил из-под стола форму:

– Вот литое оргстекло, толщина семь миллиметров. Ей полтора года почти, больше трёх сотен отливок сделано! И глянец сохранился!.. – он провел пальцем по зеркально-гладкому дну формы. А это... – Шервиц вышел в соседний зал, вернулся с треснувшим крестом, – абэцэ пластик в один миллиметр, – он демонстративно пошелестел надорванным краем. – Я предупреждал, чтобы не брать...

– Шервиц, ты рамсы не путай, – строго сказал Никита. – Предупреждалка нашлась...

– Никит... – вмешался гравировщик. – Мы ж одну форму в другую ложим для прочности. Но оно реально как одноразовая посуда. И глянец быстро слазит. Нужно из стеклопластика заказать. А каждый раз покупать абэцэ реально никаких денег не хватит...

На голоса приковывал Роджер-Борхес. Никита от нечего делать напугал его хлопками и криками:

– Нахуй! Нахуй! Нахуй! – и кролик улепетнул куда-то под нары. – Ладно... – Никите уже наскучила игра в злого босса. – Братан мой будет здесь работать... Шервиц, введёшь его в курс дела: где, чё, куда. Понял?

– Понял, – буркнул Шервиц, глядя куда-то вбок.

Я испытывал ужасную неловкость, что брат устроил Шервицу при мне совершенно не обязательный разнос.

– Володь! – громко обратился Никита. – Ты присмотришь. Вопросы им задавай, не стесняйся. Ты здесь, можно сказать, начальство. Выйдем на два слова...

– Что я говорил! – заявил Никита, едва мы покинули гараж. – Сам видишь, какие они. Фима и Боба – два долбоёба... Ну, Дуда, он попроще, конечно, а Шервиц вечно берега теряет, – и двинулся с инспекцией к выставочным могилкам.

Фаргат заботливо полировал тряпочкой очередную плиту. Вначале мне показалось, что он напевает своё этническое, но это оказался российский блатнячок:

– Розы любят во-оду, пацаны свобо-оду...

– Фаргат, – недовольно сказал Никита, – давай пошустрее! И чтоб блестело, как у котика яйца!

– Будет сделано! – отозвался Фаргат и снова затянул: – Розы вянут на газонах, пацаны на зо-онах...

Я не понимал, зачем Никита выдернул меня из Рыбнинска. Бизнес у него, судя по озвученным Шервицем цифрам, переживал не лучшие дни. Однако ж позвал и даже заплатил аванс.

– Никит, – спросил я деликатным тоном, – продажи упали, да?

– Нормальные! – он бодро ответил. – Просто мёртвый сезон.

– В смысле?

– На кладбище, в принципе, всегда мёртвый сезон, хе-хе, – Никита покряхтел над шуткой, – но памятники ставят с мая по октябрь. СНИПы, блять, ГОСТы такие – в душе не ебу, не я придумал. В этом году осень тёплая была, без дождей, поэтому до середины октября работали. А продолжение банкета теперь только после майских праздников. Шервиц с Дудой шас заказы доделают и упиздуют на историческую родину горилки и сала!..

Никита, похохатывая, уселся в машину. Дверное стекло поползло вниз. Брат, дымя сигаретой, выставил наружу локоть.

– А я что?

– Ты останешься. Не хочется полностью на зиму производство сворачивать. Потому и позвал, чтоб ты за месяц-полтора врубился, чё Шервиц с бетоном химичит, гнида.

– А кто заказывать будет? – Я оглянулся на гараж. – Если не сезон?

– В смысле – кто? Люди, родственники. Мы же с кладбищем напрямую договариваемся. Там очередь на установку. Любые монтажные работы строго по графику. Первыми будут те клиенты, которые заказали раньше, то есть осенние.

Никита подмигнул на прощание, дал задний ход:

– Фаргат, – крикнул, – ворота закроешь?! – и выехал на улицу.

Фаргат по очереди прикрыл осиплые створки, скрепив их вместо засова гнутым гвоздём.

Я вернулся в мастерскую, и мы заново познакомилась. Фамилия гравировщика была Дудченко (Никита укоротил её до “Дуды”), звался он Дмитрием, а Шервиц – Николаем.

– Шо бы тебе такого интересного показать?! – начал Шервиц голосом измождённого экскурсовода. – Перед нами вибрационный стол. Нужен для уплотнения бетонной смеси в форме... Дети маленькие в садике играют пасочками в песочнице. Вот берём форму, закрепляем, чтобы она туда-сюда не мотылялась, заливаем раствор и включаем движок. Поверхность стола вибрирует, и от этого наш замес в форме уплотняется, из него выходит лишний воздух...

Я старался не обращать внимания на его издевательский тон. Да и как Шервиц должен был ко мне относиться, если Никита представил меня чуть ли не как надсмотрщика? Сказал миролюбиво:

– А мы на стройке брали автомобильную покрывку “КамАЗа” вместо амортизатора и руками трясли...

– Да? – ядовито удивился Шервиц. – Тогда шо бы ещё такого полезного тебе объяснить? Вот вибросито для просеивания цемента. Удаляет комки, мусор и бумажки, шобы они потом не всплыли случайно на лицевой стороне готового памятника. А это бетономешалки...

– Бээска на сто пятьдесят и “оптимикс” на сто девяносто литров... – сказал я. – Как говорят в народе, смесители гравитационного типа.

– Ну, я ж не знаю, шо тебе интересно! – язвительно воскликнул Шервиц. – У брата твоего, к примеру, один к нам вопрос. Как он говорил, Димон? Вилкой в глаз или в жопу раз?..

Звякнул таймер микроволновки. Подволакивая задние лапы, проковылял вдоль стенки ушастый Роджер-Борхес.

– Нагрелось... – Шервиц пошёл к верстаку.

– Володь, – спросил Дудченко, – а ты слышал эту хохму про вилку?

Я кивнул:

– Прикол такой уголовный. На него правильно отвечают: “На зоне вилок нет” или “Что-то я среди вас не вижу одноглазых”.

Дудченко похихикал:

– Смешно!.. А на зоне точно нет вилок?

– А ты радио “Шансон” чаще слушай! – вернулся с бутербродом Шервиц. – Там научат.

Я ограничился тем, что одарил его стеклянно-тягостным взглядом. Тем самым, которому Алина придумала утром несколько обидное название – “близорукий киллер”.

Шервиц даже не отвёл, а поджал глаза.

Я решил воспользоваться этим благоприятным моментом:

– Пацаны, давайте без говна за пазухой. У вас свои тёрки с Никитой, а я тут конкретно на месяц, если чё. Хотите, буду помогать. Мне за это брат деньги платит. По рукам?

Царившая до того натянутость вроде пошла на убыль. Воспользовавшись тем, что Шервиц притушил своё ехидство, я спросил у него:

– А что значит “льдинка” или “книжка”?

– Да просто название формы. “Нолик” – овал, “дверца” – обычный прямоугольник, “купол” – как дверца, только со скруглённым верхом, “лифчик” – семейный памятник, когда вместе два купола, “книжка” – то же самое, как две странички... А ты правда поработать собрался? Тебе бы тогда спецуху накинуть, тут всюду пылюка...

Я уже и сам заметил, что цемент густо осел на кроссовках:

– Неплохо бы...

Дудченко принёс из подсобки замызганный синий фартук и пару ношенных перчаток с пупырчатыми пальцами.

– С болгаркой работать умеешь? – спросил Шервиц.

– Не особенно, – признался я. – А что нужно?

– Штырей из арматуры нарезать, штучек двадцать, длина двадцать сэмэ. Справишься? Вон там, – он указал на верстак с тисками. – Возьми “хитачи”, которая зелёная, она самая удобная. И щиток не забудь, – предупредил.

Очки не помещались под пластиковым забралом, так что я снял их и благоразумно положил в полуметре от тисков. С “хитачи” тоже разобрался, она оказалась ухватистой, звонкой, щедро во все стороны рассыпала бенгальские брызги.

Штыри один за другим звякали о верстак – тёплые, с синей окалиной на срезах. И только я порадовался, как славно у меня получается, вернулся Шервиц. Удовлетворённо констатировал:

– Шо могу сказать. Все искры в яйца! Молодец! И только не пизди, шо когда-то болгарку в руках держал. Пойдём, поможешь перетащить формы.

– Это в сушилку?

– Сушилную камеру, – дотошно поправил Шервиц. Прислушался к тишине и включил радио.

Я нацепил очки и с досадой увидел, что к стёклам кое-где чёрными мушками прикипела окалина, летевшая от болгарки.

Только и оставалось, что идти за Шервицем, гадая, как же меня угораздило после двух лет службы учинить себе очередной стройбат и статус нерадивого подмастерья.

Я бы и в одиночку мог поднять и перетащить с яруса на ярус “льдинку” и “дверцу”, но “лифчик” весил больше центнера, и для транспортировки его однозначно требовались две пары рук.

Формы, что посвежее, закрывала парниковая плёнка, с других Шервиц эту плёнку, наоборот, сдирал, и мы перемещали такие ярусом ниже. А вот формы, на которых плёнки уже не было, я помогал переносить на рабочий стол Шервица. Там происходила распалубка.

Шервиц тщательно обдувал заготовку жарко сопящим феном, проверял по всему периметру щели тонкой плоской лопаткой, потом мы вдвоём переворачивали форму так, чтобы отливка не выпала, а мягко улеглась торцом на лист ДСП. Потом Шервиц где нужно полировал плиту шлифовальным кругом, убирал шероховатости, какие-то мельчайшие заусенцы.

Они и правда получались на диво ладными – “дверцы”, “купола”, “льдинки”, “нолики”, “книжки”. И я недоумевал, почему Шервиц кривится, недовольно цокает языком, будто недоволен результатом. Скорее всего так проявлялось его творческое кокетство.

Потом Шервиц отлучился на пару минут, и по звону болгарки я догадался, что он заканчивает порученное мне ранее задание. Он вернулся с нарезанными штырями, а после принялся выбивать перфоратором отверстия в основаниях стел и тумб. Штыри, как я понял, выполняли роль дополнительных креплений.

Голубоватую дымку за маленькими окошками сменил чернильный сумрак. Шервиц и Дудченко отправились мыться и переодеваться. Я ограничился тем, что просто отряхнул мокрой ладонью изрядно запылившиеся штаны – они уже не выглядели опрятными и новыми.

Пришёл улыбающийся, как Будда, Фаргат. Снова напевал про розы:

– У меня не стои-и-ит... Ваша роза в стакане-е-е...

Принёс из сушилки охапку рваной плёнки, похожей на грязную пачку балерины, запихнул в мусорный мешок. Взялся подметать мусор:

– Я тебе засажу... Всю аллею цветами...

– Завтра как? – спросил меня Шервиц. – Придёшь? Мы начинаем где-то с десяти, но без стахановского пафоса.

– Приду, – сказал я.

– А щас шо будешь делать? – спросил он подозрительно.

– Тут посижу, пока Никита не приедет. Музыку послушаю.

Они ушли. Фаргат, закончив уборку, отдыхал, а на коленях у него, свесив беспомощные серые уши, подрёмывал кролик. Фаргат гладил его вдоль спины одним пальцем, нежно прищёптывая:

– Кто шароёж, кто шароёж?!

Неожиданно я догадался, что экзотическое животное “шароёж” – это акустический отголосок Никитино “шароёбиться”.

На следующее утро без четверти десять я стоял возле ворот “Реквиема”. Никита даже не заехал внутрь, сразу умчался по своим делам. К моему удивлению, Шервиц не только был

в цеху, но уже и всюду трудился. Бетономешалка “оптимикс” находилась рядом с гудящим вибростолом, Шервиц размеренно орудовал красным ковшиком, заполняя форму “льдинку”.

Раствор, который он извлекал из бака, выглядел непривычно, будто конский помёт – тёмно-серые окатыши размером с каштан. Оказавшись внутри формы, они под воздействием дрожи растворялись, таяли в общей массе.

Я накинул вчерашний фартук и вернулся к столу. Почти заполненная “льдинка” была третьей по счёту, а два “нолика” лежали на поддонах.

– Коль, я что-то напутал? – спросил я у Шервица. – Мы же вроде к десяти договаривались.

– Та не... – равнодушно ответил он и выключил вибростол. – Проснулся рано, думаю – какой смысл валяться, и пораньше приехал. Бери тележку и вези их в сушильную камеру...

Когда я вернулся, Шервиц уже сделал второй замес и приготовил очередные формы. Хватило как раз на “дверцу” и “купол”, после чего Шервиц сказал, что на сегодня с литьём покончено, и предложил выпить чаю.

Меня несколько позабавило кислое выражение лица Шервица, когда ему показалось, что я занырнул взглядом в бетономешалку.

– Шо интересного ты там хочешь увидеть? – спросил он ревниво и даже прикрыл собой проём бака.

Вскоре мне сделалось понятно, почему Шервиц так выбешивал Никиту. Я ведь не догадывался, с какой маниакальностью Шервиц оберегает от посторонних глаз свои производственные ноу-хау, точно шеф-повар элитного ресторана или скрипичный мастер. Он и припёрся на час раньше исключительно потому, чтобы без свидетелей замесить свой чудо-бетон.

Даже в совершенно необязательной беседе на производственную тему Шервиц мухлевал, путал следы, сбивал с толку. Мне же просто хотелось выглядеть заинтересованным работником. Помню, спросил, какая температура должна быть в сушильной камере. Шервиц сказал:

– От шестнадцати до девятнадцати градусов.

Но круглосуточно работающий конвектор в мастерской был выставлен на двадцать один градус.

Гранитный отсеб Шервиц упорно называл “мраморной крошкой”. Я не возражал и не поправлял его. Крошка так крошка. Наполнитель, одним словом.

И позже я замечал, что ответы Шервица сплошь изобилуют такими “неточностями”. Формы, укрытые полиэтиленовой плёнкой, сушились не менее двадцати часов, а потом ещё сутки доходили без плёнки.

На мой вопрос, сколько надо выдерживать заготовку, он пробормотал:

– Восемь часов... – и глаза у него при этом были как у бесстыжего пса.

Формы нуждались в обязательном уходе. Перед каждой новой отливкой внутреннюю поверхность для поддержания идеального глянца следовало обработать. Шервиц говорил, что лучше всего смазывать их дизельным маслом пополам с соляной. Иронизировал, что на Украине предпочитают протирать шкуркой от сала. Но сам пользовался исключительно воском на фланелевой тряпочке.

Под любым удобным предлогом он отправлял меня подальше от бетономешалки, придумывая различные задания: то перетащить отливки, то нарезать штырей или набить полусухой смесью формы для балясин.

Иногда я просто душно возражал, что мне очень интересны пропорции и последовательность его замеса. Шервиц остерегался открыто выразить неудовольствие, но по его надорванному тону я догадывался, как он взбешён.

Я подносил и распаковывал мешки с цементом и мукой, Шервиц загружал бак и как умел вводил в заблуждение. Очевидно, он был не особо высокого мнения о моих способностях, решив, что его комментарии для меня весомее того, что я сам вижу.

– Можно и четырёхсотый цемент использовать, – обстоятельно плутовал Шервиц. – Только тогда надо чуть поменять пропорцию. Грубо говоря, если у тебя пятисотый цемент, то на центнер замеса надо брать двадцать пять килограмм пятисотого или тридцать четырёхсотого, пятьдесят кило мучки и десять кило речного песочку...

Шервицу не приходило в голову, что я способен сложить цифры в пределах ста и заодно понять, что бак мы загружаем на сто сорок литров.

– Сыплем, значит, портландцемент, – поучал Шервиц, закидывая сначала мучку, затем песок, – помешиваем несколько минут... – при этом смешивание наполнителей происходило у него не больше минуты. – А воды добавлять надо, сколько считаешь нужным... – В этот момент он загружал полный объём мешка цемента. – Слишком много воды – дольше будет сохнуть; если мало – могут образоваться раковины на поверхности... – Потом наливал в глубь бака скрупулёзно отмеренные литры разведённого пластификатора.

После всех манипуляций бак оказывался заполненным не привычным тестообразным раствором, а гранулированной массой, увесистыми икринками цемента. Я трогал их рукой – на ощупь они напоминали пластилин или резину. Эти самые окатыши, очевидно, и были производственной тайной. Но результат впечатлял – памятники у Шервица получались отменные, с виду неотличимые от гранита.

А вот Дудченко, наоборот, никаких секретов не держал, сам охотно рассказывал о своём ремесле.

– Ты же в детстве перерисовывал картинки, чтоб отпечаталось на нижнем листе, а потом по канавкам сверху наводил. Тут то же самое. Ложим снимок, какой будет на памятнике. Под него копирочку, и проклеиваем по бокам скотчем. Обрисовываем шариковой ручкой. Убираем фотку и копирку, берём цинковые белила, присыпочку и втираем мизинчиком, пока не проявятся контуры лица. А потом уже начинаем аккуратно работать пучком...

– Каким пучком?

Дудченко откладывал скарапель, которым выколачивал в камне буквы, чтобы показать связку из двух десятков спиц.

– От таким, – он всегда говорил “от” вместо “вот”. – С победитовыми напайками. Обстукиваем самые светлые места – лоб, спинка носа, скулы, щёки. А где нужна тонкую линию сделать, зрачки, ноздри, носогубная складка, то уже ударной машинкой надо...

И правда, готовые портреты мертвецов выглядели так, будто их каким-то непостижимым образом распечатали на плите гранита.

Дудченко то ли учился, то ли закончил художественное училище по специализации “станковая графика”, но самокритично полагал, что таких мастеров, как он, достаточно. Отсутствием самолюбия он, конечно, не страдал, но и не задавался, как Шервиц.

Попутно Дудченко занимался ещё изготовлением металлических фотоовалов. Они производились уже не в нашей мастерской, потому что у Никиты не было муфельной печи для термического закрепления изображения. Называлась технология “печать методом деколя”. Готовые овалы выглядели очень солидно и, кстати, не всегда были овалами. Случалось, заказывали прямоугольники или купола – в зависимости от пожеланий.

Помню, Дудченко как-то захватил в мастерскую ноутбук и весь вечер кропотливо и бережно дорисовывал в программе фотографию, на которой отсутствовала половина лица. Если требовалось, всегда терпеливо разъяснял вопрошающему клиенту, почему во время дождя гравированный портрет на памятнике исчезает, а когда высыхает, снова появляется.

– Потому что влага по-любому проникает в материал. Но поводов для беспокойства нет, мы обрабатываем плиту специальной защитной пропиткой.

А Шервиц всегда вёл себя высокомерно, закатывал глаза, цедил что-то сквозь зубы, а после пискляво передразнивал любопытствующих:

– А вы, наверное, красите памятники графитом? Я понял, вы покрываете бетон жидким полиэтиленом!.. Я слышала, шо нынешний бетон на химии не выстоит и семи лет!..

– А тебе не по цимбалам? – улыбался его возмущению Дудченко.

– Да просто типает от всех! – раздражённо отвечал Шервиц.

Таких местечковых словечек в их речи было великое множество.

Мне понравилось смешное выражение “Ебала жаба гадюку”. Впрочем, оно не предназначалось для моих ушей. Оба думали, что я их не слышу, вспоминали какой-то эпизод жёстких разборок между прежним хозяином Шаповаловым и новым, то есть Никитой.

Я поначалу беспокоился, как отразится на моём внутреннем состоянии непосредственный контакт с чужим горем, старательно репетировал выражение деликатного сочувствия и сердечные модуляции в голосе. Но оказались лишними и благородная понурость, и фальшивая задушевность, и предупредительная хмурость.

Я не сообразил, что памятники ставят не сразу, а спустя время – год или даже больше. Так что люди, приходящие к нам, в большинстве были спокойными или смиренными. Даже улыбались.

Я оказался свидетелем разговора родственников покойного капитана дальнего плавания Битюцкого с Дудченко. Претензия была к эпитафии, причём Дима не сразу понял, что именно не устраивает.

– Рожденье – не начало, смерть – не конец! Шо не так? – недоумевал он.

– Димон, – разобравшись, сказал я. – Они хотят, чтобы слово “рождение” было через “и”! А у тебя мягкий знак там...

– Ну конечно! – со смешком воскликнула дочь Битюцкого, женщина средних лет, удивительно похожая на своего выгравированного отца. – Это же памятник, а не песенка Шаинского: к сожаленью, день рожденья...

Пока он переделывал буквы на памятнике, я поделился историей дедушкиного памятника:

– За смертной гранью бытия, в полях небытия, кто буду, я или не я, иль только смерть ничья.

– Длинная, – сказал Дудченко. – Шо с ней не так было?

– Её полностью затереть пытались, но следы слов всё равно остались.

– Полировали ребром “черепашки”, – Дудченко кивнул на лежащую неподалёку болгарку, – плоскость нарушили, и при боковом свете проявился эффект линзы. Ну, и абразивы явно не те использовали...

А “рождение” Дудченко выправил очень искусно.

В один из дней во дворе мастерской появились старые знакомцы, которых я вообще не ожидал когда-либо увидеть: молдаване на грузовой “газели” – те самые, что шесть лет назад ставили памятник на дедушкину могилу: Раду и Руслан. Они если и узнали меня, то не подали виду. Потом часто приезжали, подвозили в мастерскую мешки с цементом, наполнителем, песок, красители.

Никита обращался с молдаванами хорошо, при мне не помыкал ими, особо не подкалывал. Разве иногда дразнил беззубого Раду “Дракулой”, а Руслана “Космосом”, потому что у того на мобильнике стоял рингтон с мелодией из сериала “Бригада”.

Кроме молдаван мастерскую навещала ещё одна пара – Катрич и Беленисов, хотя эти двое совсем не походили на трюдаг-установщиков. Приезжали на чёрном “фиате” минивэне с тони-

рованными окнами, больше напоминающем не легковой автомобиль, а какой-то унижительный катафалк, в котором покойника перевозят без гроба и для компактности поджимают ему ноги.

Катричу и Беленисову с виду было за сорок. Матёрые, тяжёлые, пустоглазые, похожие на сдружившихся носорогов, они с одинаковыми полуулыбками заходили в цех. Беленисов всегда одевался в камуфляж и армейские ботинки, а Катрич предпочитал дустрый спортивный костюм образца девяностых и кроссовки.

Вели они себя исключительно мирно, но Шервиц относился к парочке с опаской. После каждого их визита он ещё час не мог в себя прийти, бурчал, возмущался. Никита же общался с “носорогами” легко, приятельски, без явных начальственных ноток. Беленисова звал “Беля”, а Катрича не сокращал, обращался по фамилии.

С чувством юмора у них было туговато. Однажды, когда Никита после приветствия напел шутовское:

– Дарят уебаны жёлтые тюльпаны! Цвета застоялой утренней мочи!..

Беленисов лаконичным движением губ выровнял улыбку в линию, спросил:

– А поконкретнее?..

Мне показалось, что брат держит Беленисова и Катрича для особых пехотных целей. Я спросил как-то, откуда они взялись, и получил туманный ответ, что это – “старые кадры”, ещё с эпохи “Лужников”, и на них можно положиться в любом вопросе.

А перед Никитой я отчитался о накопленном опыте в конце второй рабочей недели, в пятницу. Мы сидели у него на кухне. Я, развалясь, вещал ленивым, экспертным тоном, изредка позыркивал на Алину – оценила ли мою недюжинную наблюдательность и сметливость.

– Основная фишка – в бетоносмесителе. У Шервица в “оптимиксе” удалены лопасти.

– Ну-ну... – заинтересованно потянул Никита. Повернувшись к Алине, произнёс с нотками торжества, будто выиграл недавний спор: – Я ж тебе говорил, что Володька во всём разберётся! Братан у меня чёткий!

Алина покивала. В одной руке у неё была сигарета, в другой – чашка с кофе.

Я продолжил:

– В баке образуются такие шарики из раствора. Ещё пластификатор используется специальный... Возможно, играет роль очерёдность закладки и угол замеса, то есть под каким углом выставлен бак...

– Так, так, – постучал пальцами по столу Никита. – И в чём наёбка?

– Да ни в чём! – Алина звонко поставила чашку на стол. – Ты просто параноик, Никита! Никто тебя не наёбывает! Володя тебе рассказал, что в мастерской у нас работает очень толковый специалист. Вот и всё!

– Да похуй, какой он! – рявкнул Никита. – Мне важно другое. Ты его можешь заменить теперь? А, Володь?

Если бы я хотел подсидеть Шервица, то сказал бы Никите, что справлюсь. Тем более что за Шервицем определённо водились грешки. Среди прочих форм я обнаружил не только могильные. Был там набор для облицовки камина или какого-то другого штатского левака. Но уличать Шервица я не собирался в любом случае. Мне хотелось лишь отработать Никитины деньги и вернуться в Рыбнинск. Поэтому я ответил брату:

– Не уверен, Никита. В этом деле опыт нужен, а Шервиц – крутой мастер...

– Зря ты этого говнюка жалеешь, – вздохнул Никита. – Ладно, пох. – Глянул на мобильник. – Ну чё, Володька, рванули?

– Где бухаете? – Алина затушила в пепельнице окурочек.

– В “Шубуде”... – Никита расцвёл улыбкой. – И чё сразу “бухаете”? Просто посидим. Познакомлю брата с коллегами по бизнесу.

Я встал с табурета и пошёл в прихожую обуваться.

– Будет как в прошлый раз?.. – спросила Алина сварливым тоном. – Забирать тебя придётся?

– Не знаю, маленькая, как покатит...

– Кто ещё будет? – Судя по стеклянному бряканью, Алина загружала посудомоечную машину.

– Свои. Валерка, Чернаков, Шелконогов... Мултановский, понятное дело. Он по поводу Гапона перетереть с нами хочет. Ветеран снова рамсы путает...

– Кудашев придёт?

– Кудя? Оно ему нах не упало. Он твоего Румянцева вместо себя пришлёт...

– Ты там лишнего только не ляпни, мне с ним ещё работать!

– Лапушка, не ссы, штатно посидим, попиздим о жизни... О-оп! Борец подкрался незаметно!..

– Никит, умоляю! Давай без обнимашек!..

Я уже делился с Никитой своими первыми наблюдениями про бетономешалку без лопастей и вибростол, но Никита тогда не слушал, а дурачился, мол, на вибростоле, наверное, круто трахать бабу – один большой лежачий вибратор...

Это было ровно неделю назад. Никита забрал меня из мастерской, и я полагал, мы едем к нему домой на Карла Либкнехта, а оказалось, что уже ко мне. На улицу Сортировочную.

Не могу сказать, что отселение стало громом среди ясного неба. Я, конечно, понимал, чья это инициатива, и первую минуту чувствовал себя смертельно обиженным, но Никите никаких упреков не высказал, дескать, продавila тебя баба, гонишь родного брата. Наоборот, сделал вид, что поверил его торопливым от неловкости словам, нарочито актёрскому хлопку по лбу:

– Это, Володька, я накосячил, но, слава богу, Алинка надоумила. Ты ж взрослый парень! Недавно дембельнулся, а тёлку привести некуда! Поэтому нашёл тебе отличное лежище. И от нас недалеко, и в мастерскую пешком минут за пятнадцать доберёшься, – так он говорил, протягивая мне десять тысяч. – Хата стоит пятёрку в месяц, а это остаток...

Успокоился я, кстати, быстро, ведь, по большому счёту, Алина была права. Для пары, живущей в перманентном режиме “Милые бранятся – только тешатся”, присутствие постороннего было изрядной помехой.

Квартира, которую снял для меня Никита, выглядела довольно мило – однушка, населённая простенькой обжитой мебелью. Оконные рамы были деревянные, сто раз перекрашенные, со шпингалетами, как винтовочный затвор, а подоконник в комнате украшали горшки с кустиками алоэ.

Ванна оказалась крошечная, размером с корыто. Да и вообще, все сантехнические удобства задумывались, видимо, под низкорослого жильца. Умывальник находился чуть ли не в полуметре от пола, и, чтобы помыть руки, мне приходилось кланяться в пояс своему отражению в шербатым овале подвесного зеркала.

Кухня порадовала кофемолкой и электросамоваром. Особо умилили эмалевые крышки к кастрюлям с винными пробками в ручках и раритетная яйцезрезка, похожая на игрушечную арфу. Если провести пальцем по рамке с натянутыми струнами, они издавали нежный тренькающий аккорд.

Прям над кухонным столиком из стены торчала розетка для радио – как в кино про шестидесятые. Такой же “свиной пятак” был когда-то и у нас на кухне, пока мать не затеяла

ремонт. Электрик устаревшую эту розетку снёс и поставил вместо неё современную, под чайник или тостер...

Никите приглянулась подборка журналов, обветшалые номера “Науки и жизни”. Он подошёл к этажерке, вытащил из стопки линялый журнальчик, пошуршал пожелтевшими, в веснушках, страничками.

– Тут кроссворды всегда печатали... – усмехнулся, вспоминая. – Где-то в твоём возрасте, Володька, была у меня подружка одна... Ну, не одна, конечно, их дохера было... Не о том речь. В общем, реальная нимфоманка! Пилилась – мама не горюй. Швейная машинка! Но ценила в мужиках знания. Знаешь, чё я делал? Х-хе... Вот мы с ней, значит, поебёмся, а потом кроссворды разгадываем. А я нарочно возле дивана сваливал книжки всякие, журналы, чтоб она думала, что я читающий. Короче, открываем кроссворд, приступаем, а я все слова знаю! Это её пиздец как заводило!

– Ну круто, – с бодрым равнодушием сказал я. – Молодец.

– Ты не понял. Знаешь, почему я все слова отгадывал? Я просто брал предыдущий номер журнала. А до того в свежем номере смотрел ответы на тот кроссворд! – Никита засмеялся. – Прикол понял!? Дарю идею, братик!.. Алинка тоже нимфоманистая и, между прочим, интеллект ценит... – лицо у него посерьёзнело. – При всей нашей разнице в возрасте мы с ней сходимся культурными кодами, понимаешь?

– Да, культурный код, – ответил я. – Это важно...

Всякий раз, когда Никита произносил имя Алины, я испытывал удар болезненной пустоты, точно что-то бездушное и тёмное толкало меня в грудь. А в этот раз тычок был помягче, как если бы тоску обмотали тряпкой. Я подумал: “Хорошо, что переехал. С Алиной буду видеться реже, и меня отпустит от моей нелепой влюблённости...”

Я одобрил жильё, и мы отправились к Никите забрать мою сумку и ещё какие-то вещи от Никитиных щедрот: два комплекта белья, старенький ноутбук “тошиба”, потому что, как сказал Никита, в квартире имелся интернет.

Уже в первый вечер я оценил все преимущества холостяцкого проживания. Разделся до трусов, спокойно, без оглядки, пошёл в туалет: не гость – хозяин! У Никиты каждый раз изнывал, подгадывал, когда Алины нет на кухне, чего доброго услышит. Ходил чуть ли не на цыпочках, старался быть беззвучным и прозрачным, набожно опрятным. А тут хлопал дверцей холодильника, гремел посудой, лил воду, мусорил.

В ближайшем продуктовом магазинчике накупил вкусностей – копчёной рыбы, шпрот, оливок. Дома сварил картошки в мундире и устроил одинокую пирушку. Как же хорошо было наконец-то не принимать пищу, а, устроившись на ковре перед телевизором, просто жрать. Шумно сопеть носом, чавкать, обжигать губы и нёбо, дышать как загнанный пёс, перекатывая по языку раскалённый, дымящийся картофель, перед тем как уронить его изо рта обратно в тарелку – не остудил, горяч!..

Ночами уже случались заморозки, дворы выбеливала снежная крупка, и земля по утрам была берёзового окраса. От Сортировочной до Супруна, где находилась наша мастерская, идти и правда было недалеко – минут пятнадцать прогулочным шагом. Так я узнал, что Виталий Супрун, в честь которого назвали улицу, был советским танкистом-асом. В сорок первом, когда фашисты рвались к Москве, его экипаж в одиночку разгромил колонну немецкой бронетехники – так торжественно сообщала мемориальная доска на доме, которым начиналась улица. И бирюзового цвета Т-34 на постаменте тоже был в честь Супруна.

Я догадывался, почему Никита потащил меня с собой в “Шубуду”. Скорее всего, ему было неловко за окраинную Сортировочную, и он наверняка хотел продемонстрировать, что я не какой-то наёмный работник, а ближайший родственник и партнёр.

Он был нарочито весел, шутил:

– Знаешь, как правильно переводится: “Ай лав ё бэби”?

– Я люблю тебя, крошка?..

– Не-а! Я люблю твоего ребёнка!.. Х-хы!

Отсмеявшись, он посерьёзnel:

– А вот интересно, есть ли у бати биологические часы?

– Хороший вопрос, – я с удивлением отметил, что ни разу не задумывался об этом. – Приколно, если бы это была какая-то семейная традиция, но, скорее всего, мы имеем дело просто с отцовским бзиком. У дедушки Лёни я никаких биологических часов не видел – только обычные. У отца тоже...

– Может, не заметил? – засомневался Никита.

– За столько-то лет совместной жизни?

– Тебе, конечно, виднее... – в голосе брата неожиданно прозвучала потаённая болезненная нотка.

Никита чуть помолчал, потом спросил:

– Тебе батя говорил, как пользоваться часами?

– Нет. Сказал, что сам разберусь. Мы вообще не обсуждали это. А тебе объяснил, что ли?

– Не-а, ни слова...

Я вдруг принялся рассказывать Никите историю про пионерский лагерь и побег. Пока я говорил, старый город закончился и началась брежневская застройка.

Проехали мимо кинотеатра, похожего на обронённую неведомым великаном фуражку.

– Я умом понимал, что вся эта история с часами полная хуйня, но помчался как миленький на электричку в Рыбнинск, только чтоб успеть завести часы, до того как они остановятся...

– Значит, не такая уж и хуйня, – Никита выразительно повёл бровью, – раз помчался...

Мы свернули на какую-то тесную улочку. Никитин джип легко вскарабкался на высокий тротуар, потом покатил вперёд мимо неизвестно что огораживающей решётки – по обе стороны лежал запорошённый снежком пустырь или сквер.

Тормознули перед бетонным задником какой-то постройки. По круглой скошенной форме крыши я понял, что мы находимся с обратной стороны кинотеатра-фуражки.

– Постоим чуть, – предложил Никита. – Не против?

– Не опоздаем?

– Не... – Никита заглушил мотор.

Облезлый бетонный задник кинотеатра обильно покрывало мрачноватое граффити сатанистской тематики – пентакли, черепа, рога. Разглядеть детали не получилось. За какую-то минуту пустырь затопили фиолетовые сумерки.

– Вообще, место херовое, – сообщил Никита. – Тут было совершено три убийства. Ну, может, не конкретно здесь мочканули, но трупы обнаружили вот на этом пятачке. Два жмура просто безвестные алкаши или торчки. А третий человек серьёзный, авторитет Кирза. Я знал его. Нашли под канализационной решёткой, возле стены...

Я вопросительно посмотрел на Никиту. Он отмахнулся:

– Ты чё?! Я к этому никакого отношения не имею...

– А что тогда? Экскурсия по криминальным достопримечательностям?

– Тоже нет. Просто мне в этом месте хорошо думается. Специально сюда приезжаю перед каждой важной встречей. Или просто чтоб с мыслями собраться. Но я тебе про часы собирался рассказать...

Никита полез во внутренний карман и достал узкий, стального цвета футляр для очков. Он снял колпачок и вытащил за ремешок свою “Ракету”.

– А твои где? – спросил.

– Дома оставил...

– Зря! Носи с собой, – наставительно сказал Никита. – Напомнишь, я тебе такой же футлярчик подгоню. Он прочный, из алюминия... – Никита внимательно поглядел на часы. – А теперь слушай. В девяносто девятом, когда я под следствием был, в камеру нашу попала газета. Кто-то в неё передачку завернул. Обычный еженедельник с программой телевизионной, анекдотами, гороскопами, кроссвордами. И там была заметка. Вот эта...

Никита залез указательным пальцем в футлярчик и вытащил свёрнутую в трубочку пожелтевшую вырезку. Или не вырезку. Потому что, когда он развернул её, как свиток, края листочка оказались рваные.

Никита разгладил непослушный листок и вслух прочёл:

– Каждому из нас знакомы выражения: “Мой день” или же “День не задался”. Действительно, случается, фортуна без видимой причины отворачивается от нас. “Такова жизнь” – скажет большинство. И лишь немногие задумаются: почему какой-то день удачный, а другой нет? Ответ на этот вопрос даёт ведическая астрология. Немногим в нашей стране известно понятие “раху-кала”... – Никита смущённо улыбнулся. – Не знаю, на каком это языке, хинди или санскрите. В английском ван, ту, сри, а тут – кал... А вот для индусов загадочное раху-кала не пустой звук. Ведический календарь понимает под этим словосочетанием неблагоприятное время протяжённостью в одну восьмую часть светового дня, или мухурту... Видишь, даже курсивом выделили: мухурта... – Он откашлялся и стал читать дальше: – В этот период, длящийся в зависимости от времени года от часа до двух с половиной часов, всякие дела и начинания обречены на неудачу. В раху-кала лучше воздержаться от покупок и поездок, они не будут удачными, а принесут только вред и разочарование. Рассчитать раху-кала можно по следующей схеме: берётся точное время между восходом и закатом солнца и делится на восемь. Так мы получаем мухурту – промежуток времени...

Я не удержался и зевнул. Вместе с зевком вылетела маленькая звучная отрыжка. Сделалось неловко, потому что Никита замолчал и печально посмотрел на меня, как классный руководитель на второгодника.

– Неинтересно, да?

– Очень интересно. Только я запутался...

– Короче, – продолжил Никита досадливой скороговоркой. – День от заката до восхода состоит из восьми равных промежутков – мухурт. Понедельник – это вторая мухурта, и мы ко времени восхода дважды прибавляем эту одну восьмую и получаем время раху-кала... Вторник – это седьмая мухурта, среда – пятая, четверг – шестая, пятница – четвёртая, суббота – третья, воскресенье – восьмая...

Никита сунул трубочку в футляр:

– Понял, к чему я веду?

– Ну да. Неблагоприятное время...

– Я так же, как и ты, сначала не врубился, – снисходительно сказал Никита. – Точнее, почувствовал, что открылось что-то важное, иначе нахера бы я эту бумажку сохранял. А потом дошло! Получается, биологические часы показывают мой персональный восход и закат. Значит и моё биологическое рахукала приходится на другое время!

– Ага...

– Вот смотри: часы у меня отстают за сутки на три минуты четырнадцать секунд. Вот я и задумал точно скоординировать всё прожитое время, учитывая високосные года, погрешности механизма: на случай, вдруг раньше часы меньше тормозили. Аспирантик один занимался этим, крутой программист! Мы с ним плотно работали, он каждую неделю замеры с часов делал и рассчитал всё по-умному. В итоге за мою жизнь биологически часы отстали больше чем на календарный месяц и два дня. И получается, я как бы существую одновременно и в прошлом, и в будущем!

Звучало это забавно, но я всё ещё не понимал, куда брат клонит. Чтобы не молчать, сказал:

– Есть только миг между прошлым и будущим...

– Нихуя ты не вдуплил! – сокрушённо вздохнул Никита, постучал ногтем по часам на приборной панели. – Сегодня по всем понятиям одиннадцатое ноября, суббота, половина шестого! Но для моих биологических ещё десятое октября, вторник, седьмая мухурта! Пять минут четвёртого и раху-кала в самом разгаре!.. – Он потянулся за сигаретами: – В общем, я когда вернулся, то прикола ради стал этим всем пользоваться. И я тебе скажу, что мне реально попёрло. Дела наладились, бабки пошли, Алинку встретил. Она хоть мозг и выносит, но радости от неё тоже много. Такие вот, Володька, пироги...

– Понятно, – сказал я. – Отцу говорил?

– Нет...

– А Алине?

– Шутишь? – Никита аж выпучил глаза. – Я тебе одному об этом рассказал. И только потому, что ты мой брат. В общем, если захочешь разобраться со своими часами, скажи мне, я тебе подскажу, аспиранта этого подгоню, у меня контакт остался.

В кармане у Никиты зазвонил мобильник, брат глянул на номер:

– Это Валерка!.. Не буду щас отвечать...

Когда мобильник затих, Никита отключил его. Подмигнул мне:

– У нас ещё минут сорок раху-кала, которые мы переждём с тобой здесь. А потом поедем в “Шубуду”...

Он кивнул сам себе, откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Лицо его постепенно расслабилось и сделалось неожиданно одухотворённым.

Пока Никита дремал, я осмысливал услышанное. Не то чтобы я отнёсся скептически ко всей этой истории про эксплуатацию наших биологических часов. В конце концов, многие прислушиваются к гороскопам или доверяют народным приметам. Никита уж никак не производил впечатление человека суеверного, а тем более чудаковатого. Важным для меня было другое – брат в очередной раз оказал мне доверие, поделился сокровенным.

Коттедж, как одинокий хутор, стоял посреди поля, опоясанный невысокой кирпичной оградкой. Переливающийся неоновыми огоньками, он напоминал добротный придорожный отель с претензией на дешёвый и броский шик.

– Чтоб ты понимал, – сказал Никита, – это не дружеские попизделки, но и не разборка – просто деловые тёрки под пар и водочку. Из наших там только Валерка, остальные себе на уме. Реальная гнида – Гапон... – в голосе брата лягнуло железо. – Сука одноногая!..

– Прямо одноногий? – меня почему-то заинтриговал факт увечья. – Инвалид?

– Весьма хитрожолая калека, блять!.. – подтвердил Никита. – С понтом, ветеран первой, не ебаться, чеченской баталии...

– А чем провинился?

– Долго объяснять... Короче, Мултанчик, в смысле, Мултановский, директор похоронного комбината добрых услуг, сам ставит администрацию на кладбища, а это целая команда: заведующий, смотрители, бригада копщиков, водитель, сторожа, озеленители – всего человек пятнадцать. Плюс киоск с цветами, принадлежностями... Сейчас на Новом кладбище Пенушкин сидит. Но непонятно, сколько продержится, потому что Гапон...

– А Пенушкин кто? – перебил я Никиту.

– Директор кладбища. Или заведующий?... – засомневался Никита. – Но суть не в этом. Гапону тесно стало в больничке...

– А Гапон кто такой? – не поспевал я. – Главврач?

– Куда! Завхоз, блять! Зам главного по хозяйственной части. Но у него там крепко всё схвачено. Ритуальная служба “Элизиум”, магазин, ритуальный зал и трупохранилище на территории судмедэкспертизы...

Посреди двора высился впавший в зимнюю спячку фонтан. К первому, облицованному искусственным камнем, этажу пристроили летнюю веранду, которая сейчас пустовала. Кроме обычной подсветки в тротуарную плитку были вмонтированы небольшие прожекторы, отчего возникал эффект золотого марева – в мультфильмах так лучилось содержимое сундуков с сокровищами.

– И вот теперь Гапон снова на кладбище попёр, первый раз лет семь назад – внаглую. Меня уже в Загорске не было, Валерка подробности рассказал – целая эпопея. Но его тогда знатно шуганули, хотя следовало грохнуть вместе с Гликманом. Вот... А теперь он в обход решил действовать, через городскую администрацию, и для начала взять на кладбище участок в аренду. Понимаешь, что это означает?

– Конкуренция?

– Не-а... Магаз или павильон – хуйня, первый шаг. Жопа в том, что городская администрация имеет право снять кладбище с баланса комбината, потому что они якобы не справляются – жалобы от населения, коррупция, антисанитария, – и передать его в управление какому-нибудь ООО, то есть частной коммерческой организации, заранее понятно какой – “Элизиум”. Кудашеву так проще. Гапон ему лавандос лично заносить будет. Сечёшь последствия? Не?... Под Гапоном окажется вся похоронка Загорска! Ну, не вся, но контрольный пакет. Ещё свои памятники станет делать, гробы... Уже, по слухам, начал приторговывать. У Мултанчика, ясное дело, очко конкретно игрануло, потому что в долгосрочной перспективе комбинат просто ликвидируют за ненадобностью. Даже если не закроют из-за Старого кладбища, так на нём только семейные подзахоронения. Значит, бабла не будет! И заметь, Гапон ещё не получил разрешения на строительство, но копщиков своих заранее подтянул. Пенушкин жаловался, что местные копщики от гапоновских пиздюлей отхватили. Такой расклад... Вон, кстати, его машина, Гапона, “ауди” шестёрочка чёрная...

Сам Никита припарковался по другую сторону фонтана возле серебристого “мерседеса”.

Повернулся ко мне:

– Ты особо не заморачивайся. Пей поменьше, помалкивай и наблюдай. – Добавил с оценивающим прищуром: – Знаешь, я вот тоже обратил внимание, что ты когда без эмоций сидишь и смотришь исподлобья... Алинка точно подметила. Реально хер проссышь, чё у тебя на уме! Лицо такое делается...

– Злое? Жестокое?

– Не... Гораздо хуже! Оно ласковое! Шучу. Не знаю, как объяснить... – он озадачился, нащупывая подходящие слова. – Я когда служил, у нас за казармой то ли ров был, то ли канава. И, веришь, такой жутью оттуда веяло. Земля ведь тоже разная... А улыбнулся – и всё! Ушло твоё страшное лицо! – Никита засмеялся и потрепал меня по шее. – Близорукий киллер...

На первом этаже находился небольшой ресторанный зал. Посетителей не было, разве что залётная парочка, расположившаяся за дальним столиком рядом с эстрадой. Не играла в колонках музыка, накрахмаленные салфетки на пустых тарелках смотрелись как самодельные панамки-треуголки из бумаги, точно ресторан в спешном порядке покинул отряд курортников.

За одним из столиков миловидная женщина-администратор листала какие-то бумаги. Увидев нас, поднялась и приветливо кивнула Никите. Брат широко улыбнулся ей, раскрыл объятия:

– О, Три Богатыря! Давно не виделись, милая!..

Они обнялись. Женщина на миг прижалась к Никите бёдрами, чуть коснувшись поцелуем его щеки:

– Красавец мужчина, – пропела, – и борода идёт... Ой, испачкала тебя, – проворными пальцами вытерла алый отпечаток губ. – Ваши в третьем сидят...

– А почему “Три Богатыря”? – спросил я Никиту, когда мы свернули к лестнице, ведущей вниз на цокольный этаж.

– Фамилия – Добрынина, звать Алёна Ильинична, – пояснил Никита. – Алёна почти как Алёша. Хорошая тётка, и сосёт со знанием дела!.. – оглянулся со смешком. – По слухам, разумеется...

Спустились на один пролёт. В цоколе было очень тепло, едва уловимо пахло то ли паровым отоплением, то ли бассейном. В маленьком, закамouflированном под избушку гардеробе тихий служака-азиат выдал нам халаты, полотенца, одноразовые тапочки и пару банных веников.

Я проследовал вслед за уверенно идущим Никитой в кабинет под номером три. Первая комната оказалась раздевалкой. Одна стена была оборудована под обычную вешалку, а вдоль соседней стены расположились узкие шкафы-пеналы. В углу тарахтел кулер, заряженный бутылку нежно-голубого цвета. Стояли круглый стеклянный столик, пара кожаных кресел.

Смежная дверь вела в трапезную. Там полным ходом шло застолье, слышались голоса и перекаты басовитого смеха. Пока мы переодевались, в номер зашёл официант с ведёрком льда, из которого торчали два водочных горлышка, скрылся на минуту в трапезной и вернулся с порозовевшим улыбающимся лицом, будто увидел что-то неприличное. До того как дверь закрылась, голоса сделались слышней и всё тот же бас проговорил:

– Так и говорю ему: “Жирный ты пидор!”, а он мне: “Я не жирный!..” – Дверь закрылась и приглушила самоуверенный гогот.

Никита уже переоделся в белый махровый халат, который был ему коротковат, подпоясался, закинул на плечо полотенце.

– Ну чё, Володька, – сказал он, с трудом втискивая свои широкие ступни в узкие тапочки. – Пойдём?..

Я ожидал, что Никита обнаружит нас шумом и грохотом, но брат, наоборот, на несколько секунд замер возле дверного проёма, прислушиваясь к разговору. И лишь потом толкнул дверь и зашёл если не крадучись, то максимально тихо, а я за ним.

Трапезная была довольно просторной комнатой с низким потолком. Стены, отделанные доской, создавали атмосферу терема. Посреди комнаты стоял большой деревянный стол, заставленный всякой снедью.

Собралось восемь человек. Краснолицые, взлохмаченные, со сползшими с плеч мятыми простынями, они напоминали компанию подгулявших древних греков. Трое расположились по правую сторону, четверо – по левую сторону стола. Все как один слушали человека, восседавшего к нам спиной – условно говоря, во главе стола. Судя по рокочущим звукам, это и был тот самоуверенный басок. Он, пожалуй, не услышал нас, оглушённый собственным гулом. Снис-

ходительно обращался к похожему на отставного тяжелоатлета мужику, сидящему по правую сторону, третьим от двери:

– Мой тебе, Валерыч, дружеский совет: на рекламе не экономь!..

“Валерыч” смотрел без выражения. Не возражал, не соглашался. Этому типу очень бы подошёл близнец из ларца – такой же розовощёкий и простодушный бугай, но рядом с ним хмурился немолодой дряблый дядька, напомнивший мне изображения полководца Суворова, только не лицом, а седой, зачёсанной назад шевелюрой и чубчиком-хохолком. Там же сидел и средних лет мужик с мокрой и какой-то нахлёстанной плешью, старательно накалывал на вилку непослушный, склизкий гриб.

– Я как поступил, – прогудел бас, – вдоль всех выездов из Загорска, – он сделал движение рукой, – баннеры поставил: “Элизиум. Памятники от производителя”!..

– А правильно было бы: “Элизиум. Памятники от охувшего перекупщика”! – произнёс Никита. – Да, Валер?!

Повисла пауза. Широкая спина с прилипшим к ней дубовым листочком пошевелилась. Скрипнул стул под развернувшимся грузным торсом. На нас весело и недобро глядел мужик возрастом за сорок, с красивыми, но анекдотично крупными чертами лица: холёный, округлостью чуть ли не с горбушку батона, подбородок, губастый рот, тяжёлый, но при этом пропорциональный нос, большие, с обрюзгшими веками глаза. Он сидел к нам вполоборота, но я сразу отметил, что правое его колено, прикрытое полой халата, заканчивается пустотой, – Гапон.

Крепкий Валера усмехнулся Никитиным словам, а пожилой его сосед с чудаковатым хохолком сложил тонкие бескровные губы в кислую улыбку:

– Позже появиться не мог, да?

Плешивый сначала подхихикнул Никите, но в процессе предпочёл закашляться.

Вторая половина стола отреагировала более сдержанно. Двое, что расположились подальше, улыбнулись – то ли появлению Никиты, то ли его задиристым словам. Один приподнял рюмку в знак приветствия. С виду они годились в ровесники Никите. А вот сидящие ближе к выходу два парня были постарше меня лет на пять – восемь, и они определённо не понимали, как им реагировать на “охувшего перекупщика”.

Гапон выдержал паузу и гулко захохотал. Молодые подхалимы выдохнули, засмеялись.

– Ники-и-ита! – сладко прогудел Гапон, протягивая руку. – Здра-а-асьте – из пизды на лыжах!.. Х-ха-га! Братан, повеселил! Ну, присаживайся, заждались... – щедро выбросил вперёд руку с растопыренной пятернёй.

Никита то ли сделал вид, что не заметил протянутой руки, то ли взаправду прозевал её, прошёл мимо. Неловкой ситуации однако ж не возникло. Гапон просто хлопнул уходящего Никиту по спине. Выглядело это движение очень естественно, будто Гапон и не собирался ручкаться, а именно так и хотел: проводить Никиту приятельским шлепком.

Никита на это бросил:

– Отъебись!

Гапон заколыхался от смеха, но по вздрогнувшему лицу его я понял, что невнимание и откровенная грубость Никиты его задела.

Отыгаться он решил на мне:

– А тебя как звать? – спросил и, не дав даже секунды на ответ, сказал: – Мальчик жестами объяснил, что его зовут Хуан!

Левая сторона стола поддержала шутку нестройным блеянием. Я равнодушно представился:

– Владимир, – и залепил по повисшей в воздухе лопатистой ладони рукопожатием, получившимся звонким, как пощёчина. Стиснул пожётче, продолжая идти за Никитой. Гапон потерял равновесие и чуть не полетел со стула, но успел ухватиться за стол. Выхватив помятые пальцы, воскликнул:

– Потихонечку, дружок, чуть не уронил меня! – В груди его снова заклокотало показное веселье, но глаза сделались осторожными и злыми. – Здоровый хлопец, весь в тебя, Никита!.. Сын?

– Брат младший, – удостоил его ответом Никита. Он поприветствовал остальных, обнялся с быковатым Валерой и занял стул ровно напротив Гапона.

Я наскоро познакомился со всей компанией. Желчный мужик с хохолком был Андрей Викторович Мултановский, директор похоронного комбината, а рядом с ним его подчинённый – Женя Пенушкин, заведующий кладбищем. Напротив сидели Дима Шелконогов из “Мемориал-авто” и Сергей Чернаков из “Гробуса” (не помню, когда он сунул мне свою визитку с нелепым логотипом в виде шарообразного гроба).

Шелконогов был сухощав и мускулист. Перебитый носовой хрящ, напоминающий сустав нездорового пальца, делал его похожим на сердитого боксёра, увесистые предплечья покрывал густо-чёрный мушиный волос, а вот крепкие бицепсы при этом были ошпианно голы.

Рыхлый, со следами бывшего фитнеса, Чернаков хоть и симпатизировал Никите, явно не случайно занял место, одинаково удалённое от Гапона и директора комбината Мултановского, словно удерживал некий профессиональный нейтралитет. Я подумал ещё, что с такой рожей, как у него, можно легко играть в кино предателей или бабников.

А вот те, кто расположились поближе к Гапону, оказались чиновниками из свиты Кудашева, начальника УВБ. У Алининого коллеги Румянцева было бледное туловище, изнеженное личико, на котором выделялся девичий нос – маленький и точёный, точно после пластической операции. Руки бровастого Шайхуллина покрывали татуировки с кельтскими узорами, а длинные волосы были собраны в хвост. Для государственного служащего вид у него был излишне неформальный.

Гапон, только мы уселись, принялся заново укреплять свои позиции, пошатнувшиеся с появлением Никиты. Объявил:

– Тост, мужики! Пусть всем будет хорошо! А плохо тем, кто не хочет, чтобы всем было хорошо!..

Тост не объединил, а разделил стол. Шайхуллин, Румянцев и Пенушкин поневоле потянулись своими рюмками к гапоновской. Дотянулся и Чернаков, а вот Шелконогов сначала чокнулся с Никитой, Валерой и мной. Мултановский позвенел на нашей половине, а после пригнулся и со вздохом потянулся к Гапону.

– Отлично пошла, – отдуваясь, сказал Пенушкин. Встрепенулся и, приподняв конопатую руку, поскрёб бочок.

– Ты чё там потерял, Жень? – издевательски спросил Гапон. – Анекдот вспомнился. Склеротик сунул руку под мышку: “Так, волосики на месте, а где ж писюлёк?!” – и загоготал первым, грохнув кулаками об стол.

Расхохотались Чернаков и Шелконогов. Молодецки за-ржал Валерка. Словно нехотя, фыркая, к ним присоединился Никита. Одним шумно сопящим носом смеялся сдержанный Мултановский. Шайхуллин заливался каким-то тирольским йодлем, а Румянцев просто трясся, прикрыв рот ладошкой, как беззубая женщина.

Гапону определённо нельзя было отказать в актёрском таланте. Не радовался только Пенушкин, ошарашенно скалился половиной рта, обиженно моргал рыжими ресницами, и лысина у него помаленьку наливалась краснотой. Физиономия Гапона снова приняла то наглое самоуверенное выражение, с которым он восседал при нашем появлении. Он чувствовал, что отыграл прежние позиции и снова в центре внимания.

Никита наклонился ко мне:

– Пойдём попаримся... – и встал.

Я понял, что Никита досадует на свой смех и не желает быть невольным соучастником балагана, устроенного Гапоном.

В душевой брат выругался:

– Клоун, блять! Как же бесит, тварь! Ничё, щас вырулим...

Я не совсем понимал, куда собрался рулить ситуацию Никита, и предпочёл думать о насущном. Отрегулировал душ так, что тугие тёплые струи приятно щекотали кожу. В никелированном держателе была закреплена бутылочка с жидким мылом, пахнущим каким-то ненавязчивым фруктом. Шампуня я не увидел и подумал, что не будет беды, если этим же мылом я вымою и голову, тем более что отросшие за последний месяц волосы я обнулил накануне в парикмахерской.

Парная находилась сразу за душевыми кабинками. Внутри вела стеклянная с тонировкой дверь. Неяркие светильники были прикрыты абажурами из тонких реек, а печку-каменку огораживали деревянные перильца. На полу стояла бадейка с водой и ковшиком.

Я, едва зашёл, понял, что долго в таком пекле не продержусь. Никита уверенно полез на верхнюю полку, я примостился внизу, подстелив на раскалённую скамью полотенце. От пустынного неповоротливого жара тлели уши. Пришлось снять и очки – металлические дужки немилосердно обжигали виски.

Никита о чём-то напряжённо думал, зажав в зубах нательный крест. В тусклом свете его торс приобрёл литой бронзовый оттенок. Я уже собирался сказать, что, пожалуй, пойду, как в парную плеснуло спасительной прохладой.

На пороге стоял Гапон, слегка покачивался на кривоватой ноге, упёршись для равновесия рукой в дверную раму.

– Чуть не пизданулся там на кафеле!.. – произнёс развязно.

Гапон был высок, увесист и космат. Я посмотрел на его большую ступню с узловатыми пальцами, нездоровые ногти, напоминающие подсохшие пятна клея.

Взглядом он наметил место, потом оттолкнулся от двери и в два замедленных, жутковатых прыжка добрался до полки. При этом у него дважды вздёрнулась культия и подпрыгнул сморщенный член с обвисшей, багрового цвета мошонкой.

– О, два брата-акробата! Слышь, Никит, а у твоего братана елдак-то будь здоров! С таким только на фашиста ходить! – захохотал. Громкий голос в горячем пространстве потерял сочные обертона, сделался рассохшимся и глухим. Гапон собрал в горсти своё дряблое хозяйство и пропел: – Жду я Маню возле фермы, очень нравлюсь Мане я! Подарю ей много спермы!.. И чуть-чуть внимания!..

Похищали зашедшие вслед за Гапоном Румянцев и Шайхуллин. На них были одинаковые войлочные шапки, делающие их похожими на прелюбодействующих друг с другом пастушков.

– Шевелите костылями, хлопцы! – прикрикнул Гапон. – Дверь закрывайте! – зачерпнул ковшиком из бади, плеснул на зашипевшие камни. – Напустили холоду!..

Я старался не пялиться на его культию, однако ж не выдержал. Кожа её, утрамбованная, заправленная внутрь, запунцовела от жары, а в лунке поблёскивала тошнотворно похожая на сукровицу набежавшая капля пота.

– Ты куда, Никит? – разочарованно потянул Гапон. – Уже, что ль?

Я, пользуясь моментом, вышел вслед за братом. Пока я остужал разгорячённое тело под душем, появился экипированный веником Валера – тяжёлый, весь из оплывшего мяса, с татуированной синей мутью на плече, и принялся что-то выговаривать Никите.

Я прикрутил кран и в наступившей тишине услышал окончание негромкой фразы, произнесённой с какой-то безжалостной добротой:

– ...по-моему, всё. Мултанчик конкретно скис. Может, ну его, Никит?

– Нет, – брат упрямо помотал головой. – Не гоношись, щас всё отыграем...

Валера почесал затылок и, похлёстывая себя веником, ушёл париться. Никита быстро ополоснулся холодной водой – до меня долетели ледяные, колючие брызги. Подмигнул и спро-

сил, как у меня настроение. На хрящеватых мочках его повисли, переливаясь, две одинаковых капли, похожие на бриллиантовые серёжки. Я ответил, что отлично.

Вразвалочку прошлёпал кривоносый Шелконогов – жилистый, поджарый. Встал под душ. Издали мне показалось, что по его предплечьям и животу заструилась грязь, но через секунду я понял, что это просто шевелится от воды космато-чёрная шерсть. Никита перекинулся с ним парой слов и удалился в трапезную.

Я же решил поискать туалет, нашёл и столкнулся там нос к носу с Мултановским, который выходил из тесной кабинки. Банный халат его распахнулся на груди, и наружу торчал седой клочок, карикатурно напоминающий суворовский хохолок на голове. После Мултановского скверно пахло, и освежитель, распыляющий дух синтетического яблока, не заглушал вонь, а только оттенял её.

Я собирался вернуться за стол, но на глаза мне попала ещё одна стеклянная дверь. За ней оказалось что-то вроде сауны, но совсем другого толка – там клубился пар и было, скорее, тепло и влажно, чем жарко. На пояснительной листовке, приклеенной снаружи на дверное стекло, сообщалось, что “Хаммам, или турецкая баня, издавна славится...”.

Дальше я не читал, просто зашёл. Присел на мокрую полку, облицованную мелкой разноцветной плиткой. Медленный, щекочущий пот заструился по спине, груди, лицу. И такие же неспешные мысли потекли в моей размякшей голове. Я думал, что всё идёт хорошо, жизнь моя день ото дня налаживается, есть работа и деньги. Старший брат пользуется уважением и относится ко мне лучше, чем я того заслуживаю...

Я глянул через стекло на электронные часы, мигающие красными цифрами. Оказывается, пролетели десять минут. Я подумал, что в следующий заход опять приду сюда, а не в парную.

Все, кроме жаропрочного Валеры, собрались за столом. Мултановский втолковывал позёвывающему Румянцеву:

– Не труповозка, как вы выразились, а служба эвакуации умерших. И мы как раз не против, если данную услугу гражданскому населению оказывают коммерческие структуры. За примерами далеко ходить не надо, – он кивнул на захмелевшего Шелконогова. – Мы замечательно сотрудничаем с нашими коллегами из “Мемориал-авто”, и никаких проблем с конкуренцией нет...

А Шелконогов обращался к обоим сразу – Мултановскому и Румянцеву:

– Я с чего начинал в девяносто седьмом... На собственные средства приобрел “буханочку” и бусик ПАЗ в качестве катафалка...

– “Буханочку”? – переспросил Румянцев. – Сленг такой? Типа возим не покойников, а хлеб?

– Ну нет же! – Шелконогов вытаращился на Румянцева. – “Узик-452”! Их ещё в народе “таблетками” называют!..

– Димон, – Гапон расплылся в презрительной улыбке. – Это ж старьё, вчерашний день!..

– Старьё, бля?! – оскорбился за “буханочку” Шелконогов. – А то, что там полный привод и проходимость?! Я из таких ебеней покойников вывозил! В ноябре по раздолбанному тракторами полю!..

Я, помня наставления Никиты, молчал и хмуро позыркивал из-под бровей.

– Володь! – неожиданно обратился ко мне Гапон. – Не в службу, а в дружбу, мотнись к чурбанчику, попроси, чтоб принесли ещё сырную тарелочку, солёную, два рыбных ассорти и два мясных...

– О! И вискаррика ещё не помешало бы! – бойко подключился Чернаков. – “Блэк Лэйбл”! – Но заметил, какую мину при этом скорчил Мултановский: – Что такое, Андрей Викторович? Всего одну-то раздавили!

– Положим, не одну, а две, – желчно уточнил Мултановский. – Но кто ж вам считает?

Подразумевалось, что весь банкет за его счёт, и он заранее досадовал на непомерные расходы.

– Всё в порядке, Серёг, – сказал Чернакову Никита. – Бери чё хочешь, по-любому чек раскидаем на всех.

Мултановский с нескрываемой благодарностью посмотрел на Никиту.

Брат наклонился к моему уху:

– Ты не обязан для кого-то ходить, спрашивать, понял?..

А Гапон словно бы позабыл о просьбе. Травил очередной анекдот:

– Пьяный заходит в автобус: “А погодка-то заебись!” – пассажиры молчат. Он: “Солнышко-то как светит!” – все молчат. Пьяный: “Ну, раз никого нет, тогда possu!”

Одинок похихикал услужливый Шайхуллин и отправился за новой порцией еды и алкоголя.

– Если мы сравним с ситуацией по Москве, – напряжённо произнёс Мултановский, – то там на пушечный выстрел не подпускают к кладбищам частников. Они имеют право только на определённые, спорные виды услуг или торговлю сопутствующим материалом...

– Ну, там своя история, – повёл плечиком Румянцев.

Гапон для увесистости сердито рявкнул:

– Ты, Андрей Викторович, просто вцепился в свой МУП, как вошь за кожу! Времена изменились!..

– Закон, – продолжил вкрадчивый Румянцев, – предусматривает компромиссные формы управления. Кладбищенским оператором может быть как муниципальное учреждение, так и предприятие любой другой организационно-правовой формы. Для развития похоронного рынка нам представляется перспективным разделить комплекс ритуальных услуг. Хотя бы в качестве эксперимента передать часть – подчёркиваю, часть – административных функций...

– Однажды скрестили кибернетику и математику, – вмешался Никита. – Получилась кибенематика!

Трескуче засмеялся Шелконогов. Гапон недовольно зыркнул на Никиту:

– Братан, вот сейчас мешаешь...

Вернувшийся из парной Валера вроде как дружески обрушил увесистые руки-клешни на вялые плечи сразу просевшего под их тяжестью Румянцева.

А Никита передразнил Гапона:

– Из-за печки выполз гусь: “Не мешайте, я ебусь!”

Румянцев сбился с мысли и замолчал. В этот момент вкатился официант, толкая перед собой дребезжащий сервировочный столик. Выгрузил бутылки.

Чернаков, получив свой виски, осведомился:

– Валерк, тебе налить? Не?.. Аркадий? – обратился к Гапону. – Плеснуть?

– Передай, сам налью, – вальяжно ответил Гапон.

Никита сказал нарочито громко:

– Ты, Аркаш, прям дед из частушки... В Эрмитаже как-то дед делал сам себе минет! Возле каждого холста сам себя имел в уста!

Взвыл, словно его ошпарили, Чернаков; Шелконогов прыснул на стол недавним содержимым рюмки. Загоготал, мотая головой, Валерка. Даже хмурый Мултановский позволил себе какие-то скрипучие сардонические звуки, напоминающие смех. Похрюкивал, утирая рыжие слёзы, веснушчатый Пенушкин. Я не сразу понял, что сам хохочу. По части зубоскальства Никита явно не уступал Гапону. Тот побагровел, но быстро совладал с гневом, глотнул воздуха и натужно заухал.

Еле слышные серебристые нотки, звенящие где-то на периферии слуха, вдруг оформились в знакомую мелодию рингтона – надрывался мой мобильник, оставленный в раздевалке.

С бабушкой и отцом я поговорил нынешним утром. Мать звонила пару дней назад. Отмирающий друг детства Толик отметил на позапрошлой неделе.

В телефоне оказались два пропущенных вызова и смс. Я открыл сообщение и заулыбался. Писал Костя Дронов: “превед бригаДир! чё не отвечаешь? ЙХ дронишь? Сидим с Цыбой бухаем, тебя вспоминаем”.

Чудно – с момента моего возвращения в Рыбнинск не прошло и месяца, но прежняя служивая жизнь поблёкла, пожелтела и запылелась, как сданная в архив газета. В нахлынувшей суете я начал забывать людей, с которыми прожил бок о бок два года.

Написал в ответ: “Здорово, камрады! Круто вам! А я в Загорске у брата. Временно руковожу мастерской по изготовлению памятников. Обнимаю, БриГАДир”.

Не знаю почему, но мне казалось, что информация про памятники выглядит солидно. На всякий случай послал смс Давидко: “Макс, как дела? Привет тебе от Дрона и Цыбы. Бригадир”.

В этот момент в трапезной грянул хохот, а потом резко, нехорошо оборвался. Я опустил телефон в карман бомбера и поспешил обратно.

Пока я отсутствовал, за столом произошли какие-то необратимые события.

– Никит, ты шути-шути, да не зашучивайся, – Гапон грозным прищуром целился в Никиту. – Жизнь – она странная. Когда надо, самого борзого на четыре кости поставит...

– А кое-кого на три кости... – в тон отвечал Никита.

– Вот был когда-то Кирза, – Гапон осклабился, – и нет Кирзы...

Валера что-то старательно насвистывал. Песни я не узнал, но Никита неожиданно улыбнулся мотиву и глумливо напел строчку:

– Домой я как пуля ворвался, и стал я жену целовать!.. Я телом её наслаждался, протез положил под кровать...

– Ты как, бля, со мной говоришь?! – взревел вдруг Гапон. Хлесткой рукой сбил со стола рюмку, так что она отлетела к стене и разлетелась вдребезги. – Я боевой офицер!

– Ты прапор тыловой! – негромко, но очень прочувствованно сказал Никита. – Сидел в Чечне в окопе, с огромным хуем в жопе!.. Туда же приколи свой купленный орден “Замужества” и медаль “Мать-героиня”...

– Так, мужики, успокоились, – пьяненько залопотал Чернаков. – Что за разговор такой...

С трусливыми собачьими улыбками на лицах переглядывались чиновники. Румянцев предпринимал робкие попытки привстать, но стоящий сзади Валера мягко усаживал его обратно.

– Так, хлопцы, – с хмурой укоризной сказал Мултановский, – что-то вы палку совсем перегнули. Нехорошо...

Я мог поклясться, что Андрей Викторович до чрезвычайности доволен тем, куда повернула ситуация. Лицо и тон у него, может, и были для приличия мрачными, но большой палец ноги более чем весело поигрывал подцепленным тапком. Лодыжка у Мултановского была старческая, в чёрных, похожих на клубок пиявок, венах.

– Ответишь за все слова, – сипло сказал Гапон Никите. Медленно выполз из-за стола.

Я посторонился. Он, как одноногий кенгуру, пропрыгал мимо меня и скрылся в раздевалке.

– Вот так же и семь лет назад, – разочарованно пояснил Валера часто моргающему Румянцеву, когда тот снова попытался подняться. – Приехал на гнедых понтах, а как вышли бойцы от Кирзы, бросил своих и съехался, чуть протез по дороге не потерял, так торопился!..

– Надо выпить! – решительно заявил Никита. Налил полный стакан виски и залпом выпил. Улыбнулся столу: – В натуре, мужики, дышать легче, когда это чмо уебалось...

Тут Никита словно бы спохватился и сказал, пародируя профессорскую манеру:

– Вот такой, уважаемые коллеги, неоднозначный консенсус у нас нарисовался... – и все засмеялись.

С уходом Гапона в трапезной сделалось намного тише. Забавно было наблюдать со стороны, как Никита и Мултановский обрабатывают Румянцева и Шайхуллина. До того они явно были оглушены гапоновской шумной харизмой.

Я по мере сил пытался помочь Никите. Сказать мне было нечего, поэтому я ограничился работой оптического Цербера, держал остекленевшую, заградительную диагональ, и когда Румянцев с Шайхуллиным уводили глаза от беседы, то сразу натыкались на меня и возвращались обратно.

– Мы всё-таки муниципальное предприятие, – с достоинством выговаривал Мултановский. – А раньше были государственным, что подразумевало особый градус ответственности!..

– Это понятно... – Румянцев кивнул.

– Город возложил на нас опеку над вверенными кладбищами и конкретные функции по захоронению умерших... – Мултановский поймал взгляд Никиты и заговорил уже обычными словами. – Павел, поймите, Советским Союзом ведь не дураки руководили! Название “комбинат” не с потолка упало – наша служба “комбинированная”. Мы занимаемся всем сразу: производством сопутствующих товаров, продажей ритуальных услуг населению по доступным ценам, погребением...

– Короче, – подхватил Никита. – Андрей Викторович хочет сказать – есть ритуальный сервис и похоронный. С похоронным всё просто: вырыть могилу, закопать, поставить оградку. А ритуальный – это ж не только гроб, венки, это и вся организация похорон, оформление бумажек, прощание, поминки – много чего!..

– Андрей Викторович, – вздохнул Румянцев. – Ваше желание быть монополистом понятно. Но и коммерческая компания со статусом специализированной службы также имеет право принять заказ на похороны...

– Никит, – устало оглянулся Мултановский. – Объясни доступно ещё раз...

Брат кивнул:

– По статистике, около семидесяти процентов людей умирают в больницах. И если взять конкретно Загорск, то большинство смертей случаются в Первой городской. Вот, допустим, человек умер в палате, а родственники оформили заказ на дому с агентом от комбината или с любой другой ритуальной конторой. По идее, кто первый застолбил покойника, тот и продаёт белые тапки...

– Конкуренция, да, – Румянцев отозвался улыбкой. – Она такая.

– Но в больнице заправляет гапоновский “Элизиум”. И работники больничного морга попутно являются сотрудниками “Элизиума”.

– И перевозка, кстати, тоже его, – вмешался Пенушкин, – Гапона.

– Вы не обижайтесь, господа, – сказал отмалчивавшийся до того Шайхуллин, – но это и называется рынком услуг.

– Русланчик, вы не поняли, – ответил терпеливым тоном Мултановский. – С этим никто не спорит, люди имеют право развивать бизнес...

– Повторюсь, не вижу никакой проблемы, – перебил Румянцев, – кроме той, что Аркадий Зиновьевич оказался весьма энергичным предпринимателем. Не лучше ли искать компромиссы, договариваться...

– С кем договариваться?! – рявкнул Валера, так что Румянцев вздрогнул и прикрыл оба своих цыплячьих глаза. – Да они к живым людям прицениваются! Понятно, бабулька древняя, ей жить два понедельника, но должна же быть хоть какая-то, блять...

– Этика, – подсказал Никита. – Профессиональная.

– Он, между прочим, не на войне ногу потерял, а с моцика по пьяни пизданулся! – презрительно добавил Валера. – Лет девять назад. В больнице хирург местный накосячил, ногу пришлось оттяпать. И чтоб скандал замаять, главврач предложил Гапоненке должность завхоза!..

– А то, что у него в “Элизиуме” в учредителях Осоян? – воскликнул Мултановский. – Это, по-вашему, нормально?!

– Кто это? – спросил, робея, Шайхуллин.

– Криминальный авторитет, – пояснил Никита. – Известен под кличкой Соя.

Мултановский насупился:

– Юрий Семёнович человек приезжий, новый, глубоко порядочный и от этого излишне доверчивый... Вы ему, Павел, так и передайте, что с Гапоненко опасно иметь дело.

– Подставит за милую душу! – вставил Валера.

– Именно! – подтвердил Мултановский. – Он заварил кашу в девяносто восьмом. Такой беспредел творился...

– Пока Кирза Гапона под лавку не загнал! – радостно сообщил Валера.

– Позвольте поинтересоваться: кто такой Кирза? – Румянцев утомлённо глянул на часы и вполголоса обратился к Шайхуллину: – Будем собираться?..

– Тоже бандит, – уже с неохотой пояснил Никита. – Керзаченко Григорий. Но по-своему был очень достойный человек, с принципами...

– Коммерсы раньше шутили, – усмехнулся Чернаков. – Наша крыша – Керзаченко Гриша...

– Его уже лет шесть как нет в живых, – сомнительно успокоил чиновников Мултановский и закончил с озабоченным видом: – И поэтому вообразите, господа, наше смятение, когда мы поняли, что коррупция и криминал в лице Гапоненко пытаются свить гнездо в Загорске... Что опять не так, Никита?!

– Ничего, – брат усмехнулся и покачал головой. – Свить гнездо и отложить яйцо...

С отъездом Румянцева и Шайхуллина стрелка быстро превратилась в бестолковую пьянку.

– Валер, вот нахуя ты Кирзу приплёл? – Мултановский неряшливо разливал водку по рюмкам.

– А чё такого? – пожимал неповоротливыми плечами Валера. – Ну сказал... Про него вообще-то Гапон первым пизданул.

– Просто они и так обосрались... Ладно, даст бог, прижмём эту гниду, а я, пацаны, в долгу не останусь!

– Валер, а он чё, реально протез потерял?! – рассмеялся вдруг Никита. – Ну, тогда у Кирзы?

– Ага, как Золушка туфлю.

– Надо было его вместе с Гликманом захуярить. Что ж ты так, Андрей Викторович? – беззлобно пожурил Никита.

– Надо! – яростно согласился Мултановский. – Только не я решения принимал. Да и без этого резонанс нехороший на Москву шёл... Давайте выпьем, а то нервы от этой жизни ни к чёрту...

Чернаков, который давно уже выпал из общего разговора, негромко рассказывал Шелконогову:

– Мужик бабе на лицо надрочил, а потом всё сам и слизал...

– Да блять!.. – поморщился Шелконогов. – Нахера ты смотришь такое?

– Я ж говорю, бикса эта сама предложила. Такая деловая: “Сергей Евгеньевич, давайте посмотрим порно...”

Мне показалось, Никиту уже развезло, когда он общался по телефону с Алиной – добродушно уговаривал через часок приехать за нами на такси и отвезти домой в Никитином джипе. Алина, судя по раздражённому мушиному зудению в трубке, злилась.

Я успел ещё дважды навестись в хаммам, а когда вернулся в трапезную, Никита, как метко выразился Валера: “Ушёл в Валгаллу, просьба не беспокоить”.

Брат, сгорбившись, сидел на лавке, и изо рта у него текла, прерываясь, тягучая струйка рвоты вперемешку со слюной. На линолеуме, имитирующем дубовый паркет, уже собралась небольшая лужа.

Во мне поднималось негодование. Было очень обидно за Никиту. Он одолел серьёзного соперника, причём не грубыми мускулами, а силой ума, убийственной, циничной иронией. И вместо того чтобы достойно отпраздновать победу, в одночасье лишился разума, как Аякс.

Я лишний раз порадовался, что Румянцев и Шайхуллин не застали этого безобразия, хотя, возможно, в их присутствии Никита сдержался бы и не довёл себя до потери облика.

Неловко было и перед Мултановским: Андрей Викторович осторожно шевелил Никиту, делая вид, что тот ещё вменяем, пытался вывести на разговор об общем чеке. Как ни странно, это ему удалось, брат шатко вышел в раздевалку, вернулся с кошельком, вытащил, не считая, деньги, а после снова уселся бомбардировать пол слюной.

Зазвонил Никитин мобильник. Я решил ответить и услышал голос Алины:

– А этот уже что, лыка не вяжет? Буду минут через двадцать...

Я ответил ей, что “этот” задремал.

Но Никита не спал. Во хмелю брат производил обманчивое впечатление человека незлобивога. Но стоило ему заметить, как Шелконогов показывает Чернакову, Мултановскому и Пенушкину, как он кого-то когда-то с одного удара вырубил, Никита тут же вскочил, произнёс с шалой ухмылкой:

– Боковой!.. – и залепил кулаком в стену.

От удара древесина треснула пополам, продырявив гипсокартон до кирпича. Я подумал, что Никита наверняка переломал себе пальцы или вышиб суставы, но всё обошлось декоративными ссадинами на костяшках. После демонстрации силы Никита опять плюхнулся на лавку. Но благостный настрой его покинул. Взгляд стал недобрый, зыркающим.

Одеваться он не хотел. Ему понравилось ломать тарелки. Он брал одну, сдавливал, пока тарелка не раскалывалась. Получившиеся половинки Никита мрачно бил об пол.

Мултановский вызвал “трёх богатырей” – администратора Алёну Ильиничну, та лаской переманила Никиту в раздевалку. Там мы кое-как облачили Никиту – он всё порывался ещё что-нибудь испытать на прочность – шкаф-пенал, дверь, кожаное кресло...

Снова позвонила Алина, сказала, что подъехала. Никита не потерял способность к ходьбе, и отвести его к машине оказалось задачей посильной. Я попрощался с красивой Алёной Ильиничной, зачем-то извинился за дебош, на что она безмятежно отмахнулась – мол, обычное дело...

Во дворе было по-ночному свежо и промозгло. Накрапывал колючими песчинками снежок. Он чуть опушил газоны и бортики фонтана, мерцал, искрился в лучах прожекторов, подсвечивающих мокрую брусчатку.

Алина зябко переминалась возле “лендровера”. На ней была меховая куртка, из-под которой торчала белая растянутая фуфайка, и обтягивающие джинсовые лохмотья – те самые, в которых я увидел её в первый раз. Она заметила нас и выбросила окурочек. Хотела придавить его сапожком, но ветер раньше унёс, закружил оранжевую искру.

Валере, помогавшему мне вести Никиту, Алина буркнула:

– Спасибо, – но прозвучало это больше как упрёк, а не благодарность. Мне просто кивнула, словно нерадивой прислуге. Лицо у неё выглядело уставшим и злым. Никиту она нарочито не заметила.

А брат при виде Алины моментально размяк, как сухарь, упавший в кипяток. В ответ на её молчание плутовато улыбнулся:

– Чёрт ли сладит с бабой гневной!.. – и уселся в машину на заднее сиденье.

Едва мы тронулись, он завалился набок, засопел. Кислый запах перегара быстро заполнил салон, так что Алина, брезгливо морщась, открыла окно.

Спустя несколько минут я как можно непринуждённой спросил Алину, а что за группа играет в радиоприёмнике. Она прошипела: “Депеш-ш-ш-ш мод...” – я поспешно отвернулся и больше не предпринимал попыток заговорить.

Мы промчались мимо заправки, сверкающей радостным дискотечным неоном. Я во второй раз (первый, когда катили с Никитой в “Шубуду”) прочёл красную вертикаль слова “Про-пан”, привычно проговорил внутри себя несмешной каламбур: “Или пан, или пропан”.

Украдкой, словно из засады, я смотрел на Алину. Она по-прежнему была удивительно хороша, нравилась мне каждой своей чёрточкой, но сводящее с ума монотонное томление, гложущая страсть куда-то подевались. Затаились до времени или же ушли навсегда.

Заливалась пустословием ночная радиоволна: “...и сложно поверить, что среди нас живут, ходят по улицам эти умеющие творить красоту люди. Покупают хлеб, ездят в метро, растят детей, щурятся солнышку...”

– Пердят и срут жиденьким, – язвительно продолжила за дикторшу Алина.

Я засмеялся.

– Надо же... – Алина на миг отвлеклась от дороги. – Первый раз слышу от тебя что-то, кроме кашля. Или ты тоже надрался?

Я почти счастливо ответил:

– Нет, не пил. Просто сам по себе доволен жизнью.

Алина, конечно же, догадывалась о моей деревянной влюб-лённости, но принимала её как скучную данность. А теперь, видимо, почувствовала, что я по какой-то причине освободился от чар. И вдруг преобразилась, потеплела. Принялась расспрашивать о прошедшем вечере в “Шубуде”. Потом поинтересовалась: есть ли у меня подруга и скучаю ли я по ней? Я ответил, что была, звали Юля (пригодилась белгородская сметчица), но мы давно расстались. На игривый вопрос: “Почему?” – отважился и начал смешить Алину чужой историей про попугайчика, только заменил имя с Пенкина на Фассбиндера – решил, так изысканней. С любой другой девушкой я бы оставил Пенкина, но в Алине я не сомневался, да и в себе тоже. Полгода назад, отдыхая в бытовке после трудового дня, я по телеку посмотрел целую передачу об этом самом Фассбиндере, а потом ещё и минут тридцать заунывного фильма “Лола”, после чего Дронов, Цыбин и Давидко взбунтовались и потребовали переключиться на другой канал...

– В общем, на побывку приехал, пришёл к ней в гости... А у Юльки моей попугайчик жил, Фассбиндером звали, педик волнистый!..

Отрыгнул алкогольным выхлопом Никита. Я осёкся. Алина странно посмотрела на меня, потом тихо сказала:

– А ты, оказывается, очень-очень забавный...

От дороги и тряски Никита сделался валким и будто вдвое отяжелел. Я с трудом вытащил его из джипа, закинул грузную братову руку себе на плечо и, поддерживая, повёл к подъезду.

Никита косолапо, как огромный, неуклюжий младенец, перебирал неустойчивыми ногами. Алина шла позади и несла слетевшие с меня очки.

Никита категорически не желал находиться в вертикальном положении, норовил обмякнуть, сложиться, скорчиться. Пока лифт поднимался, я прижимал Никиту к стенке, он стоял, зацепившись подбородком, как крюком, за моё плечо. Брат смотрел на Алину, и в глазах его плавал мутный гнев. Он будто собирался высказать ей что-то наболевшее, но всякий раз сдерживался, только кривил капающий рот.

Алина открыла дверь, я втащил Никиту в прихожую, а оттуда, волоком, в спальню. Сначала забросил на кровать верхнюю часть Никиты, потом ноги, после перекатил брата на середину кровати и оставил на боку, подперев туловище с двух сторон подушками – на случай рвоты. Никита захрапел с перебоями, как подбитый двигатель. Иногда из груди его вырывался короткий стон.

Алина полушёпотом материлась, причитала, что дико устала от Никитиных попок и последующих отходняков. Мне было неловко участливо кивать, поддакивать. Хотелось побыстрее сбежать и не слышать бабьих жалоб, пьяных стонов Никиты.

В прихожей Алина хмуро предложила:

– Давай подброшу, чего ты пешком пойдёшь?

Я сказал, что не надо, доберусь сам, мол, хочу ещё перед сном подышать свежим воздухом.

– Ну, давай отвезу, – настойчиво повторила она, но через секунду с раздражением передумала: – Ладно, была бы честь предложена!..

Чуть потеплело, и летящая с небес крупка превратилась в дождевую морось. Когда мы выгрузили Никиту, во дворе никого не было, чему я несказанно обрадовался. А теперь появилась местная молодёжь на помятой “девятке”. Четверо парней сгрудились возле открытой водительской двери с банками пива. Из динамика под унцающие ритмы неизвестный мне говорун бойко начитывал рэп с проскальзывающей рифмовкой: “Капуста – хуй встал”.

Я, проходя мимо, пожал шершавые, холодные от жестянок ладони.

Мы наскоро познакомились несколько дней назад, когда я выходил от Никиты. Они курили в беседке, напоминающей птичью кормушку. Увидев меня, окликнули. Я подождал, пока они сами гуськом не выберутся ко мне. Им было лет по семнадцать – восемнадцать, и они до смешного походили на выводок обрусевших горлумов. Встав полукругом, с гопнической, вялой ленцой в голосе уточнили причину, по которой я оказался в их дворе. Я уже примеривался к неприятностям, но всё ж решил сказать, кто я. Услышав, что брат владельца “ландика”, они погрузнели и потопали обратно...

– Как жизнь? – равнодушно поинтересовался хозяин “девятки”.

– Пучком, – сказал я, хотя не очень понимал смысл этого выражения. Но такой ответ всех устроил.

На Сортировочную вёл короткий, но в ноябрьскую погоду излишне слякотный путь вдоль забора промзоны. Чтобы не мыкаться по грязище, я вышел по Либкнехта на освещённую улицу Московскую. Оттуда по прямой до поворота на Сортировочную было минут пятнадцать быстрым шагом. Но я особо не торопился.

В телефоне обнаружилось ответное, без единого знака препинания смс Давидко: “Привет дела нормально как у вас дела”. Я усмехнулся, представив его крепкую, румяную физиономию, белёсые ресницы, детский, застенчивый взгляд. Он наверняка долго подбирал, нащупывал губами слова, прежде чем решился их написать и отправить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.